

100 великих романов

Федор ДОСТОЕВСКИЙ

ИГРОК



100 великих романов

Федор Достоевский

Игрок (сборник)

«ВЕЧЕ»

Достоевский Ф. М.

Игрок (сборник) / Ф. М. Достоевский — «ВЕЧЕ», — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4444-9110-2

Произведения Федора Достоевского (1821–1881) актуальны и по сей день. По словам Г. Гессе, «внимать музыке этого страшного и великолепного писателя» продолжают поколения читателей по всему миру. Роман «Игрок» во многом автобиографичен. Как и главный герой, писатель был не в силах побороть страсть к рулетке. В 1865 году Достоевскому срочно нужны были деньги, и он заключил контракт, обязавшись написать роман за 26 дней. Пришлось надиктовывать текст стенографистке Анне Сниткиной. Так на свет родилось еще одно гениальное произведение и завязались отношения с будущей женой писателя.

ISBN 978-5-4444-9110-2

© Достоевский Ф. М.

© ВЕЧЕ

Содержание

Игрок	5
Глава I	5
Глава II	11
Глава III	14
Глава IV	17
Глава V	20
Глава VI	25
Глава VII	30
Глава VIII	34
Глава IX	39
Глава X	44
Глава XI	51
Глава XII	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Федор Достоевский

Игрок (сборник)

Игрок (Из записок молодого человека)

Глава I

Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка; деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцова, французика и еще какого-то англичанина: как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед, по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго? и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось.

Мне отвели маленькую комнатку, в четвертом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел, между другими поручениями, дать мне два тысячефранковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу; ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза; он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и наконец совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь, подальше от воксала, в парке. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил:

– А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете. Вы меня извините, – прибавил он, – но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но по крайней мере имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпрометировали...

– Да ведь у меня и денег нет, – отвечал я спокойно; – чтобы проиграться, нужно их иметь.

– Вы их немедленно получите, – ответил генерал, покраснев немного, порывлся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около ста двадцати рублей.

– Как же мы сосчитаемся, – заговорил он, – надо переводить на талеры. Да вот возьмите сто талеров, круглым счетом, – остальное, конечно, не пропадет.

Я молча взял деньги.

– Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами, вы так обидчивы... Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег и уж, конечно, имею на то некоторое право...

Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади! Mademoiselle Blanche в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной; французик, англи-

чанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели; эффект был произведен; только генералу несдобровать. Я рассчитал, что с четырьмя тысячами франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть семь или восемь тысяч франков; этого слишком мало для m-lle Blanche.

M-lle Blanche стоит тоже в нашем отеле, вместе с матерью; где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его «m-r le comte»¹, мать m-lle Blanche называется «m-me la comtesse»²; что ж, может быть, и в самом деле они comte et comtesse.

Я так и знал, что m-r le comte меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать; а m-r le comte сам бывал в России и знает, как невелика птица – то, что они называют outchitel. Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошеным; кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверно, послал меня обедать за table d'hôt'om³. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место; но встреча с мистером Астлеем меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу.

Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших; потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец – в Швейцарии; в течение этих двух недель – два раза, и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Норд-Капе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом, и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом.

За столом французик тонировал необыкновенно; он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности.

Я был в странном настроении духа; разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос: зачем я валандаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну; она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить.

Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я оборотился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд.

– Если вы человек себя уважающий, – пустился я далее, – то непременно напроситесь на ругательства и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский.

Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся.

¹ Г-н граф (франц.).

² Г-жа графиня (франц.).

³ Табльдот, общий стол (франц.).

– Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил, – сказал французик небрежно и презрительно.

– Я в Париже сначала поругался с одним поляком, – ответил я, – потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсиньора.

– Плюнуть? – спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво.

– Точно так-с, – отвечал я. – Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже, чтоб визировать паспорт. Там меня встретил аббатик, лет пятидесяти, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул «Opinion nationale»⁴ и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как чрез соседнюю комнату кто-то прошел к монсиньору; я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнею просьбою; он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, – какой-то австриец; его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно; я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсиньор принимает, то может кончить и со мною. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсиньора? Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсиньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсиньора! Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому».

«Как! в то же время, когда у него сидит кардинал!» – закричал аббатик, с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит.

Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, «que je suis heretique et barbare», и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсиньоры и проч., и проч. – все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечною злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Чрез минуту он был уже визирован. Вот-с, не угодно ли посмотреть? – Я вынул паспорт и показал римскую визу.

– Вы это, однако же, – начал было генерал...

– Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком, – заметил, усмехаясь, французик. – «Cela n'été tait pas si bête»⁵.

– Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь – пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере в Париже в моем отеле со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в двенадцатом году выстрелил – единственно только для того, чтоб разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.

– Этого быть не может, – вскипел французик, – французский солдат не станет стрелять в ребенка!

⁴ «Народное мнение» (франц.).

⁵ Это было не так глупо (франц.).

– Между тем это было, – отвечал я. – Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули.

Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из «Записок» генерала Перовского, бывшего в двенадцатом году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтоб перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился; вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось с четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к вокзалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались наконец одни.

Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только семьсот гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа, под залог ее бриллиантов, по крайней мере две тысячи гульденов или даже более.

– Мне во что бы ни стало нужны деньги, – сказала она, – и их надо добыть; иначе я просто погибла.

Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие.

– Больше ничего, что получены из Петербурга два известия: сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича, – прибавила Полина, – а он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия.

– Итак, здесь все в ожидании? – спросил я.

– Конечно: все и всё; целые полгода на одно это только и надеялись.

– И вы надеетесь? – спросил я.

– Ведь я ей вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю наверно, что она обо мне вспомнит в завещании.

– Мне кажется, вам очень много достанется, – сказал я утвердительно.

– Да, она меня любила; но почему вам это кажется?

– Скажите, – отвечал я вопросом, – наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?

– А вы сами к чему об этом интересуетесь? – спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо.

– Еще бы; если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег.

– Вы очень верно угадываете.

– Ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом: он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой: «la baboulinka». Какие короткие и какие дружественные отношения!

– Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?

– Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается.

– Вы отлично хорошо знаете, что нет! – с сердцем сказала Полина. – Где вы встретили этого англичанина? – прибавила она после минутного молчания.

– Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите.

Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге.

– Он застенчив и влюбчив и уж, конечно, влюблен в вас?

– Да, он влюблен в меня, – отвечала Полина.

– И уж, конечно, он в десять раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?

– Не подвержено. У него есть какой-то *chateau*⁶. Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольно с вас?

– Я бы, на вашем месте, непременно вышла замуж за англичанина.

– Почему? – спросила Полина.

– Француз красивее, но он подлее; а англичанин, сверх того, что честен, еще в десять раз богаче, – отрезал я.

– Да; но зато француз – маркиз и умнее, – ответила она наиспокойнейшим образом.

– Да верно ли? – продолжал я по-прежнему.

– Совершенно так.

Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостью своего ответа; я об этом ей тотчас же сказал.

– Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж за одно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.

– Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, – отвечал я спокойно, – именно потому, что готов как угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что.

Полина захохотала:

– Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, – именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны – мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

– Позвольте вас спросить, что такое *mademoiselle Blanche*? – спросил я, не желая отпустить ее без объяснения.

– Вы сами знаете, что такое *mademoiselle Blanche*. Больше ничего с тех пор не прибавилось. *Mademoiselle Blanche*, наверно, будет генеральшей, – разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и *mademoiselle Blanche*, и ее матушка, и троюродный *cousin*-маркиз – все очень хорошо знают, что мы разорились.

– А генерал влюблен окончательно?

– Теперь не в это дело. Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны.

Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к вокзалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказания идти на рулетку. Странное дело: мне было о чем раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти две недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения, хотя я, в дороге, и тосковал как сумасшедший, метался как угорелый, и даже во сне поминутно видел ее пред собою. Раз (это было в Швейцарии), заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на

⁶ Замок (франц.).

Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, – эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение; иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мною в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека...

Однако ж у меня было ее поручение – выиграть на рулетке во что бы ни стало. Мне некогда было раздумывать: для чего и как скоро надо выиграть и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающей голове? К тому же в эти две недели, очевидно, прибавилась бездна новых фактов, об которых я еще не имел понятия. Все это надо было угадать, во все проникнуть, и как можно скорее. Но покамест теперь было некогда; надо было отправляться на рулетку.

Глава II

Признаюсь, мне это было неприятно; я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не предполагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там, с первого взгляда, все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о двух вещах: во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о горах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это; это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет горами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Конечно, кой-когда, в продолжение сезона, появится вдруг какой-нибудь чудак, или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много; остальные же все играют на мелкие гульдены, и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу (в первый раз в жизни), я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стучало сердце, и я был не хладнокровен; я наверное знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выеду; что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как это ни смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется, еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но – какое мне до того дело?

Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер если б что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка, – и я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить; потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такою жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел.

Во-первых, мне все показалось так грязно – как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями, обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше; мне всегда казалось очень глупою мысль одного отъезжего и обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что «ведь играют по маленькой», – отвечал: тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно мелкая корысть и крупная корысть – не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато, а насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще нажива и барыш – это другой вопрос. Но здесь я его не решаю. Так как я и сам был в высшей степени одержан желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне, при входе в залу, как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонятся, а действуют открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие! Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется *mauvais gen⁷om* и какая позволительна порядочному человеку. Есть две игры, одна – джентльменская, а другая, плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено и – как это различие, в сущности,

⁷ Дурным тоном (франц.).

подлю! Джентльмен, например, может поставить пять или десять луидоров, редко более, впрочем, может поставить и тысячу франков, если очень богат, но собственно для одной игры, для одной только забавы, собственно для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша; но отнюдь не должен интересоваться своим выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз и еще раз удвоить, но единственно только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти игорные столы, рулетки и *trente et quarante*⁸ он должен смотреть не иначе, как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень и очень недурно было бы даже, если б ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над гульденом, – совершенно такие же богачи и джентльмены, как и он сам, и играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперед невинных и изящных, пятнадцати- и шестнадцатилетних мисс, своих дочек, и, давши им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная. Наш генерал солидно и важно подошел к столу; лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея; очень долго вынимал кошелек, очень долго вынимал из кошелька триста франков золотом, поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять черная; он и на этот раз не взял, и когда в третий раз вышла красная, то потерял разом тысячу двести франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и будь ставка вдвое или втрое больше – он не выдержал бы характера и выказал бы волнение. Впрочем, при мне один француз выиграл и потом проиграл тысяч до тридцати франков, весело и без всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и все свое состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит об них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь всей этой сволочи и всей обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный прием, замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например хоть в лорнет, всю эту сволочь: но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что собственно вы сами наблюдатель и уж несколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует: опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это во всяком случае зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще мало зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена. А между тем мне лично показалось, что все это и очень стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренно и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места Пусть уж это будет так; говорю для очистки совести. Но вот что я замечу: что во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мною...

Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Крупёрам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются, ужасно много работы. Вот еще сволочь-то! это большею частью французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы

⁸ Тридцать и сорок (*франц.*).

описывать рулетку; я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик, и – прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша!

Сначала вся эта штука была для меня тарабарскою грамотою; я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чет и нечет и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытаться сто гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне все казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул пять фридрихсдоров, то есть пятьдесят гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло тринадцать – я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственно чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще пять фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все десять фридрихсдоров – вышла опять красная. Я поставил опять все зараз, вышла опять красная. Получив сорок фридрихсдоров, я поставил двадцать на двенадцать средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из десяти фридрихсдоров у меня появилось вдруг восемьдесят. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если б играл для себя. Я, однако ж, поставил все восемьдесят фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло четыре; мне отсыпали еще восемьдесят фридрихсдоров, и, захватив всю кучу в сто шестьдесят фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну.

Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидаться с нею только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся: между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометирует, если я как-нибудь слишком проиграюсь; «но если б даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован, – прибавил он значительно. – Конечно, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами...». Тут он по обыкновению своему не dokonчил. Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если б даже и стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее.

– Почему же? – спросила она тревожно.

– Потому что хочу играть для себя, – отвечал я, рассматривая ее с удивлением, – а это мешает.

– Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш единственный исход и спасение? – спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьезно, что да; что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, «но чтоб оставили меня в покое».

Полина Александровна настаивала, чтоб я непременно разделил с нею сегодняшней выигрыш пополам, и отдавала мне восемьдесят фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, чтоб не желал, а потому, что наверное проиграю.

– И, однако ж, я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку, – сказала она задумываясь. – А потому вы непременно должны продолжать игру со мною вместе пополам, и – разумеется – будете. – Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений.

Глава III

И, однако ж, вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении при встречах, и даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения; я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, – взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти – и уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. «Значит, дескать, до того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно все равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне ни чувствовал». Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении ее ко мне были, например, вот какие утонченности: она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит; она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба, или на побегушки; но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушки, и если мне еще неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучусь и тревожусь ее же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностью, хотя, употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мной откровенною. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь и, может быть, втрое больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама!

Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предупредила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе! Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать (весьма часто дают) возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас!

Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще четыре дня назад в Петербург и на которую не было ответа. Генерал видимо волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице: посади за стол, и ноги на стол. Он даже с Полиной небрежен до грубости; впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в воксале или в кавалькадах и поездках за город. Мне известны давно кой-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом: в России они затевали вместе завод; я не знаю, лопнул ли их проект, или все еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны: француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему тридцать тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж разумеется, генерал у него в тисках; но теперь, собственно теперь, главную роль во всем этом играет все-таки m-lle Blanche, и я уверен, что и тут не ошибаюсь.

Кто такая m-lle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и m-lle Blanche сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как будто на более тонкой и деликатной ноге; теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они и не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я еще третьего дня заметил, как мистер Астлей разглядывал m-lle Blanche и ее матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлеем. Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, – из избы сора не вынесет. По крайней мере француз едва ему кланяется и почти не глядит на него; а – стало быть, не боится. Это еще понятно; но почему m-lle Blanche тоже почти не глядит на него? Тем более что маркиз вчера проговорился: он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астлей колоссально богат и что он про это знает; тут-то бы и глядеть m-lle Blanche на мистера Астлея! Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки!

Мне хоть и показалось наверное, что Полина избегает разговора со мною, как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный: все думал, что она нет-нет да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил все мое внимание преимущественно на m-lle Blanche. Бедный генерал, он погиб окончательно! Влюбиться в пятьдесят пять лет, с такою силою страсти, – конечно, несчастье. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. M-lle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у нее роскошны; цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены; от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее – сильный контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально – по крайней мере при Полине и при Марье Филипповне. (Странный слух: Марья Филипповна уезжает в Россию.) Мне кажется, m-lle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить все, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где и в Германии, кажется, не подвержена сомнению. Не знаю, что он такое во Франции? Говорят, у него есть шато. Я думал, что в эти две недели много воды уйдет, и, однако ж, я все еще не знаю наверно, сказано ли у m-lle Blanche с генералом что-нибудь решительное? Вообще все зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, m-lle Blanche тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однако ж, стал сплетник. О, как мне все это противно! С каким наслаждением я бросил бы всех и все! Но разве я могу уехать от Полины, разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но – какое мне до этого дело!

Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астлей. Да, я убежден, что он влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болез-

ненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были: в парке ли, в лесу ли, или на Шлангенберге, – стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея. Мне кажется, он ищет случая со мной говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Еще не сказав «здравствуйте», он начал с того, что проговорил:

– А, mademoiselle Blanche!.. Я много видел таких женщин, как mademoiselle Blanche!

Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел сказать, не знаю, потому что на вопрос мой: что это значит? – он с хитрой улыбкой кивнул головою и прибавил:

– Уж это так. Mademoiselle Pauline очень любит цветы?

– Не знаю, совсем не знаю, – отвечал я.

– Как! Вы и этого не знаете! – вскричал он с величайшим изумлением.

– Не знаю, совсем не заметил, – повторил я смеясь.

– Гм, это дает мне одну особую мысль. – Тут он кивнул головою и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.

Глава IV

Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь одиннадцать часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтоб играть для Полины Александровны. Я взял все ее сто шестьдесят фридрихсдоров, но под двумя условиями: первое – что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе, второе – что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы, и как можно скорее, для какой-то особенной цели. Она обещалась разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальны они и как все они жадны! Я протеснился к середине и стал возле самого крупёра; затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Между тем я наблюдал и замечал; мне показалось, что собственно расчет довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и – проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчета. Но зато я вывел одно заключение, которое, кажется, верно: действительно, в течении случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после двенадцати средних цифр наступают двенадцать последних; два раза, положим, удар ложится на эти двенадцать последних и переходит на двенадцать первых. Упав на двенадцать первых, переходит опять на двенадцать средних, ударяет сряду три, четыре раза по средним и опять переходит на двенадцать последних, где, опять после двух раз, переходит к первым, на первых опять бьет один раз и опять переходит на три удара средних, и таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. Один, три и два, один, три и два. Это очень забавно. Иной день или иное утро идет, например, так, что красная сменяется черною и обратно почти без всякого порядка, поминутно, так что больше двух-трех ударов сряду на красную или на черную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна красная; доходит, например, больше чем до двадцати двух раз сряду и так идет непременно в продолжение некоторого времени, например, в продолжение целого дня. Мне много в этом объяснил мистер Астлей, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался до тла и очень скоро. Я прямо сразу поставил на четку двадцать фридрихсдоров и выиграл, поставил пять и опять выиграл и таким образом еще два или три. Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в какие-нибудь пять минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку, в четыре тысячи гульденов, и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошел от стола, как оглушенный. Я даже не понимал, что это со мною было, и объявил о моем проигрыше Полине Александровне только пред самым обедом. До того времени я все шатался в парке.

За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же как и три дня тому назад. Француз и m-lle Blanche опять обедали с нами. Оказалось, что m-lle Blanche была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня, неужели я проиграл свои собственные деньги? Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотчас же солгал и сказал, что свои.

Генерал был чрезвычайно удивлен: откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с десяти фридрихсдоров, что шесть или семь ударов сряду, надвое, довели меня до пяти или до шести тысяч гульденов и что потом я все спустил с двух ударов.

Все это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице. Однако ж она мне дала солгать и не поправила меня; из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть.

Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал; зато я заметил в лице его волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах ему просто тяжело было выслушать, что такая почтительная груда золота пришла и ушла в четверть часа у такого нерасчетливого дурака, как я.

Я подозреваю, что у него вчера вечером вышла с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили о чем-то, запершись. Француз ушел как будто чем-то раздраженный, а сегодня рано утром опять приходил к генералу – и, вероятно, чтоб продолжать вчерашний разговор.

Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее. Не знаю, для чего он прибавил, что хоть русских и много играет, но, по его мнению, русские даже и играть не способны.

– А по моему мнению, рулетка только и создана для русских, – сказал я, и когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что, уж конечно, правда на моей стороне, потому что, говоря о русских как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю, и что мне, стало быть, можно верить.

– На чем же вы основываете ваше мнение? – спросил француз.

– На том, что в катехизис Добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, – прибавил я, – а следовательно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!

– Это отчасти справедливо, – заметил самодовольно француз.

– Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве, – строго и внушительно заметил генерал.

– Помилуйте, – отвечал я ему, – ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?

– Какая безобразная мысль! – воскликнул генерал.

– Какая русская мысль! – воскликнул француз.

Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить.

– А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, – вскричал я, – чем поклоняться немецкому идолу.

– Какому идолу? – вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.

– Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но, однако ж, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей! Я здесь успел уже вчера обойти верст на десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками: есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер⁹, ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное...

⁹ Фатер – (нем. Vater) – отец.

– Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под липками, в палисаднике, по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки... Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну, так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повинении у фатера. Все работают, как волю, и все копят деньги, как жида. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Все это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности, продали, – а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которой он сердцем соединился, – но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Также ждут благонравно и искренно и с улыбкой на заклание идут. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через двадцать, благосостояние умножилось; гульденны честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом... При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинается опять та же история. Лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений чрез пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и Комп, или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комп. чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения.

– Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили, – задумчиво заметил генерал, – но знаю наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить, чуть лишь вам капельку позволят забиться...

По обыкновению своему, он не договорил. Если наш генерал начинал о чем-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слышала из сказанного в этот раз за столом.

Глава V

Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану.

Так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: почему наш маркиз Де-Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням?

– Потому что он подлец, – странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о Де-Грие и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность.

– А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?

– Вам хочется знать, в чем дело, – сухо и раздражительно отвечала она. – Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, все имение – его, и если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе.

– А, так это действительно правда, что все в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно все.

– А то как же?

– И при этом прощай *mademoiselle Blanche*, – заметил я. – Не будет она тогда генеральшей! Знаете ли что: мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если *mademoiselle Blanche* его бросит. В его лета так влюбляться опасно.

– Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, – задумчиво заметила Полина Александровна.

– И как это великолепно, – вскричал я, – грубее нельзя доказать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемонии происходило. Чудо! А насчет бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммой и спрашивать: умерла ли, умерла ли? А? как вам это нравится, Полина Александровна?

– Это все вздор, – сказала она с отвращением, перебивая меня. – Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?

– Зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, что бы вы мне ни приказали; но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько?

– К чему эти вопросы?

– Но ведь вы сами обещали мне объяснить... Слушайте: я совершенно убежден, что когда начну играть для себя (а у меня есть двенадцать фридрихсдоров), то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня.

Она сделала презрительную мину.

– Вы не сердитесь на меня, – продолжал я, – за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль пред вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. Подарком от меня вам нельзя обижаться. Притом же я проиграл ваши.

Она быстро поглядела на меня и, заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор:

– Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мною взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю, здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль у меня – не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось.

– Или потому, что уж слишком надо было выиграть. Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что если б он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук.

Полина удивилась.

– Как же, – спросила она, – вы сами-то на то же самое надеетесь? Две недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго, о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке, и убеждали меня, чтоб я не смотрела на вас как на безумного; или вы тогда шутили? Но я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку.

– Это правда, – отвечал я задумчиво, – я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос: почему именно мой сегодняшний, бесполовый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения? Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно.

– Почему же вы так наверно убеждены?

– Если хотите – не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть, что это тоже единственный мой исход. Ну вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть.

– Стало быть, вам тоже слишком надо, если вы фанатически уверены?

– Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность?

– Это мне все равно, – тихо и равнодушно ответила Полина. – Если хотите – да, я сомневаюсь, чтоб вас мучило что-нибудь серьезно. Вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и неустановившийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного.

– Кстати, – перебил я, – вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорошо, значит, долг! Не француз ли?

– Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли?

– Вы знаете, что я все себе позволяю говорить, и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю, я ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может.

– Все это вздор! И терпеть я не могу этой вашей «рабской» теории.

– Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтоб желал быть вашим рабом, а просто – говорю, как о факте, совсем не от меня зависящем.

– Говорите прямо: зачем вам деньги?

– А вам зачем это знать?

– Как хотите, – ответила она и гордо повела головой.

– Рабской теории не терпите, а рабства требуете: «Отвечать и не рассуждать!» Хорошо, пусть так. Зачем деньги, вы спрашиваете? Как зачем? Деньги – все!

– Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие, их желая! Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. Говорите без извилины, я так хочу.

Она как будто начинала сердиться, и мне ужасно понравилось, что она так с сердцем допрашивала.

– Разумеется, есть цель, – сказал я, – но я не сумею объяснить – какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом.

– Как? как вы этого достигнете?

– Как достигну? как, вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтоб вы взглянули на меня иначе, как на раба! Ну вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений.

– Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала.

– Вы так думали, – вскричал я с каким-то странным наслаждением. – Ах, как эдакая наивность от вас хороша! Ну да, да, мне от вас рабство – наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! – продолжал я бредить. – Черт знает, может

быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо... Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за семьсот рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз Де-Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза Де-Грие при вас за нос?

– Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унижит.

– Прямо из прописи! Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее, сердечное оскорбление, и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет, а один только петух, *le coq gaulois*¹⁰. Впрочем, этого я понимать не могу, я не женщина. Может быть, петухи и хороши. Да и вообще я заврался, а вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще; когда я с вами говорю, мне хочется высказать все, все, все. Я теряю всякую форму. Я даже согласен, что я не только формы, но и достоинств никаких не имею. Объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь все во мне остановилось. Вы сами знаете отчего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается, ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал и не помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня поглотило. Так как я не имею никакой надежды и в глазах ваших нуль, то и говорю прямо: я только вас везде вижу, а остальное мне все равно. За что и как я вас люблю – не знаю. Знаете ли, что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом? Сердце, наверное, у вас нехорошее; ум неблагоприятный; это очень может быть.

– Может быть, вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами, – сказала она, – что не верите в мое благородство?

– Когда рассчитывал купить вас деньгами? – вскричал я.

– Вы зарапортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами.

– Ну нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться. Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню. Вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться: я просто сумасшедший. А, впрочем, мне все равно, хоть и сердитесь. Мне у себя наверху, в каморке, стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искушать готов. И за что вы на меня сердитесь? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь! Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а – так, просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Вы смеетесь...

– Совсем не смеюсь, – сказала она с гневом. – Я приказываю вам молчать.

Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так предо мною останавливалась, а потому и

¹⁰ Галльский петух (франц.).

любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это и нарочно сердилась. Я ей это высказал.

– Какая грязь! – воскликнула она с отвращением.

– Мне все равно, – продолжал я. – Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно: меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет? Вы доведете меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь? Гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет; ну так – я себя как можно дольше буду не убивать, чтоб эту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь: я вас с каждым днем люблю *больше*, а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, третьего дня, на Шлангенберге, я прошептал вам, вызванный вами: скажите слово, и я соскочу в эту бездну. Если б вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы соскочил?

– Какая глупая болтовня! – вскричала она.

– Мне никакого дела нет до того, глупа ли она или умна, – вскричал я. – Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить – и я говорю. Я все самолюбие при вас теряю, и мне все равно.

– К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга? – сказала она сухо и как-то особенно обидно. – Это совершенно для меня бесполезно.

– Великолепно! – вскричал я, – вы нарочно сказали это великолепно «бесполезно», чтоб меня придавить. Я вас насквозь вижу. Бесполезно, говорите вы? Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть – хоть над мухой – ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек – деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите.

Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью. На окраинах губ запекалась пена. А что касается Шлангенберга, то клянусь честью, даже и теперь: если б она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился! Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевок на меня сказала, – я бы и тогда соскочил!

– Нет, почему ж, я вам верю, – произнесла она, но так, как она только умеет иногда выговорить, с таким презрением и ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это я тоже не солгал, говоря ей.

– Вы не трус? – спросила она меня вдруг.

– Не знаю, может быть, и трус. Не знаю... я об этом давно не думал.

– Если б я сказала вам: убейте этого человека, вы бы убили его?

– Кого?

– Кого я захочу.

– Француза?

– Не спрашивайте, а отвечайте, – кого я укажу. Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили? – Она так серьезно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало.

– Да скажете ли вы мне, наконец, что такое здесь происходит! – вскричал я. – Что вы, боитесь, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу – *Blanche*; потом тут – этот француз, с своим таинственным влиянием на вас и – вот теперь вы мне так серьезно задаете... такой вопрос. По крайней мере чтоб я знал; иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или вы стыдитесь удостоить меня откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня?

– Я с вами вовсе не о том говорю. Я вас спросила и жду ответа.

– Разумеется, убью, – вскричал я, – кого вы мне только прикажете, но разве вы можете... разве вы это прикажете?

– А что вы думаете, вас пожалею? Прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесете вы это? Да нет, где вам! Вы, пожалуй, и убьете по приказу, а потом и меня придете убить за то, что я смела вас посылать.

Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов; но все-таки она слишком серьезно проговорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мною и так прямо говорит: «Иди на погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было что-то такое циничское и откровенное, что, по-моему, было уж слишком много. Так, стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло.

Вдруг она захохотала. Мы сидели тогда на скамье, пред игравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею, пред вокзалом.

– Видите вы эту толстую баронессу? – вскричала она. – Это баронесса Вурмергельм. Она только три дня как приехала. Видите ее мужа: длинный, сухой пруссак, с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски.

– Зачем?

– Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга; вы клянетесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорки. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой.

– Вы вызываете меня; вы думаете, что я не сделаю?

– Да, вызываю, ступайте, я так хочу!

– Извольте, иду, хоть это и дикая фантазия. Только вот что: чтобы не было неприятности генералу, а от него вам?

Ей-богу, я не о себе хлопочу, а об вас, ну – и об генерале. И что за фантазия идти оскорблять женщину?

– Нет, вы только болтун, как я вижу, – сказала она презрительно. – У вас только глаза кровью налились давеча, – впрочем, может быть, оттого, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу да и только! И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой.

Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться, но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило, именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно, точно пьян.

Глава VI

Вот уже два дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку! И какая все это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость, и я всему причиною. А впрочем, иногда бывает смешно – мне по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается. А порой кажется, что я еще не далеко от детства, от школьной скамейки, и просто грубо школьничаю.

Это Полина, это все Полина! Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она. Кто знает, может быть, я это все с отчаяния (как ни глупо, впрочем, так рассуждать). И не понимаю, не понимаю, что в ней хорошего! Хороша-то она, впрочем, хороша; кажется, хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у ней узенький и длинный – мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза – настоящие кошачьи, но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Месяца четыре тому назад, когда я только что поступил, она, раз вечером, в зале с Де-Грие долго и горячо разговаривала. И так на него смотрела... что потом я, когда к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину, – только что дала, стоит перед ним и на него смотрит... Вот с этого-то вечера я ее и полюбил.

Впрочем, к делу.

Я спустился по дорожке в аллею, стал посредине аллеи и выжидал баронессу и барона. В пяти шагах расстояния я снял шляпу и поклонился.

Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идет – точно всех чести удостаивает. Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие.

Все это мелькнуло мне в глаза в три секунды.

Мой поклон и моя шляпа в руках сначала едва-едва остановили их внимание. Только барон слегка насупил брови. Баронесса так и плыла прямо на меня.

– Madame la baronne, – проговорил я отчетливо вслух, отчеканивая каждое слово, j'ai l'honneur d'être votre esclave¹¹.

Затем поклонился, надел шляпу и прошел мимо барона, вежливо обращая к нему лицо и улыбаясь.

Шляпу снять велела мне она, но поклонился и сошкольничал я уж сам от себя. Черт знает, что меня подтолкнуло? Я точно с горы летел.

– Гейн! – крикнул, или лучше сказать, крякнул барон, оборачиваясь ко мне с сердитым удивлением.

Я обернулся и остановился в почтительном ожидании, продолжая на него смотреть и улыбаться. Он, видимо, недоумевал и подтянул брови до пес plus ultra¹². Лицо его все более и более омрачалось. Баронесса тоже повернулась в мою сторону и тоже посмотрела в гневном недоумении. Из прохожих стали засматриваться. Иные даже приостанавливались.

– Гейн! – крякнул опять барон с удвоенным кряктом и с удвоенным гневом.

¹¹ Госпожа баронесса... честь имею быть вашим рабом (*франц.*).

¹² До крайнего предела (*лат.*).

– Jawohl¹³, – протянул я, продолжая смотреть ему прямо в глаза.

– Sind Sie rasend?¹⁴ – крикнул он, махнув своей палкой и, кажется, немного начиная трусить. Его, может быть, смутил мой костюм. Я был очень прилично, даже щегольски одет, как человек, вполне принадлежащий к самой порядочной публике.

– Jawo-o-ohl! – крикнул я вдруг изо всей силы, протянув о, как протягивают берлинцы, поминутно употребляющие в разговоре фразу «jawohl» и при этом протягивающие букву *o* более или менее, для выражения различных оттенков мыслей и ощущений.

Барон и баронесса быстро повернулись и почти побежали от меня в испуге. Из публики иные заговорили, другие смотрели на меня в недоумении. Впрочем, не помню хорошо.

Я оборотился и пошел обыкновенным шагом к Полине Александровне. Но еще не доходя шагов сотни до ее скамейки, я увидел, что она встала и отправилась с детьми к отелю.

Я настиг ее у крыльца.

– Исполнил... дурачество, – сказал я, поравнявшись с нею.

– Ну, так что ж? Теперь и разделявайтесь, – ответила она, даже и не взглянув на меня, и пошла по лестнице.

Весь этот вечер я проходил в парке. Чрез парк и потом чрез лес я прошел даже в другое княжество. В одной избушке ел яичницу и пил вино: за эту идиллию с меня содрали целых полтора талера.

Только в одиннадцать часов я воротился домой. Тотчас же за мною прислали от генерала.

Наши в отеле занимают два номера; у них четыре комнаты. Первая – большая, – салон, с роялем. Рядом с нею тоже большая комната – кабинет генерала. Здесь ждал он меня, стоя среди кабинета в чрезвычайно величественном положении. Де-Грие сидел, развалясь на диване.

– Милостивый государь, позвольте спросить, что вы наделали? – начал генерал, обращаясь ко мне.

– Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу, – сказал я. – Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем?

– С одним немцем?! Этот немец – барон Вурмергельм и важное лицо-с! Вы наделали ему и баронессе грубостей.

– Никаких.

– Вы испугали их, милостивый государь, – крикнул генерал.

– Да совсем же нет. Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «jawohl», которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг это «jawohl», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно... Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо (уверяю вас, что вежливо) сказал: «Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave». Когда барон обернулся и закричал «гейн!» – меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: «jawohl!» Я и крикнул два раза: первый раз обыкновенно, а второй – протянув изо всей силы. Вот и все.

Признаюсь, я ужасно был рад этому в высшей степени мальчишескому объяснению. Мне удивительно хотелось размазывать всю эту историю как можно нелепее.

И чем далее, тем я более во вкус входил.

– Вы смеетесь, что ли, надо мною, – крикнул генерал. Он обернулся к французу и по-французски изложил ему, что я решительно напрашиваюсь на историю. Де-Грие презрительно усмехнулся и пожал плечами.

¹³ Да (нем.).

¹⁴ Вы что, взбесились? (нем.)

– О, не имейте этой мысли, ничуть не бывало! – вскричал я генералу, – мой поступок, конечно, нехорош, я в высшей степени откровенно вам сознаюсь в этом. Мой поступок можно назвать даже глупым и неприличным школьничеством, но – не более. И знаете, генерал, я в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство, которое в моих глазах почти избавляет меня даже и от раскаяния. В последнее время, эдак недели две, даже три, я чувствую себя нехорошо: больным, нервным, раздражительным, фантастическим и, в иных случаях, теряю совсем над собою волю. Право, мне иногда ужасно хотелось несколько раз вдруг обратиться к маркизу Де-Грие и... А впрочем, нечего договаривать; может, ему будет обидно. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли баронесса Вурмергельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения (потому что я намерен просить у нее извинения)? Я полагаю, не примет, тем более что, сколько известно мне, этим обстоятельством начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире: адвокаты при уголовных процессах стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления ничего не помнили и что это будто бы такая болезнь. «Прибил, дескать, и ничего не помнит». И представьте себе, генерал, медицина им поддакивает, – действительно подтверждает, что бывает такая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит, или четверть помнит. Но барон и баронесса – люди поколения старого, притом прусские юнкеры и помещики. Им, должно быть, этот прогресс в юридическом медицинском мире еще неизвестен, а потому они и не примут моих объяснений. Как вы думаете, генерал?

– Довольно, сударь! – резко и с сдержанным негодованием произнес генерал, – довольно! Я постараюсь раз навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессою и бароном вы не будете. Всякие сношения с вами, даже хотя бы они состояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унижительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснялся уж со мною в воксале и, признаюсь вам, еще немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, чему подвергали вы меня, – меня, милостивый государь? Я, я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же, вы не будете принадлежать к моему дому...

– Позвольте, позвольте, генерал, так это он сам непременно потребовал, чтоб я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выразиться?

– Нет; но я сам почел себя обязанным дать ему это удовлетворение, и, разумеется, барон остался доволен. Мы расстаемся, милостивый государь. Вам следует дополучить с меня эти четыре фридрихсдора и три флорина на здешний расчет. Вот деньги, а вот и бумажка с расчетом; можете это проверить. Прощайте. С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей, я не видал от вас ничего. Я позову сейчас Кельнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваш расход в отеле. Честь имею пребыть вашим слугою.

Я взял деньги, бумажку, на которой был карандашом написан расчет, поклонился генералу и весьма серьезно сказали ему:

– Генерал, дело так окончиться не может. Мне очень жаль, что вы подвергались неприятностям от барона, но – извините меня – виною этому вы сами. Каким образом взяли вы на себя отвечать за меня барону? Что значит выражение, что я принадлежу к вашему дому? Я просто учитель в вашем доме, и только. Я не сын родной, не под опекой у вас и за поступки мои вы не можете отвечать. Я сам – лицо юридически компетентное. Мне двадцать пять лет, я кандидат университета, я дворянин, я вам совершенно чужой. Только одно мое безграничное уважение к вашим достоинствам останавливает меня потребовать от вас теперь же удовлетворения и дальнейшего отчета в том, что вы взяли на себя право за меня отвечать.

Генерал был до того поражен, что руки расставил, потом вдруг оборотился к французу и торопливо передал ему, что я чуть не вызвал его сейчас на дуэль. Француз громко захохотал.

– Но барону я спустить не намерен, – продолжал я с полным хладнокровием, нимало не смущаясь смехом мсье Де-Грие, – и так как вы, генерал, согласившись сегодня выслушать жалобы барона и войдя в его интерес, поставили сами себя как бы участником во всем этом деле, то я честь имею вам доложить, что не позже как завтра поутру потребую у барона, от своего имени, формального объяснения причин, по которым он, имея дело со мною, обратился мимо меня к другому лицу, точно я не мог или был недостойн отвечать ему сам за себя.

Что я предчувствовал, то и случилось. Генерал, услышав ЭТУ новую глупость, струсил ужасно.

– Как, неужели вы намерены еще продолжать это проклятое дело! – вскричал он, – но что ж со мной-то вы делаете, о господи! Не смейте, не смейте, милостивый государь, или, клянусь вам!.. здесь есть тоже начальство, и я... я... одним словом, по моему чину... и барон тоже... одним словом, вас заарестуют и вышлют отсюда с полицией, чтоб вы не буянили! Понимаете это-с! – И хоть ему захватило дух от гнева, но все-таки он трусил ужасно.

– Генерал, – отвечал я с нестерпимым для него спокойствием, – заарестовать нельзя за буйство прежде совершения буйства. Я еще не начинал моих объяснений с бароном, а вам еще совершенно неизвестно, в каком виде и на каких основаниях я намерен приступить к этому делу. Я желаю только разъяснить обидное для меня предположение, что я нахожусь под опекой у лица, будто бы имеющего власть над моей свободной волею. Напрасно вы так себя тревожите и беспокоите.

– Ради бога, ради бога, Алексей Иванович, оставьте это бессмысленное намерение! – бормотал генерал, вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий и даже схватив меня за руки. – Ну, представьте, что из этого выйдет? опять неприятность! Согласитесь сами, я должен здесь держать себя особенным образом, особенно теперь!.. особенно теперь!.. О, вы не знаете, не знаете всех моих обстоятельств!.. Когда мы отсюда поедем, я готов опять принять вас к себе. Я теперь только так, ну, одним словом, – ведь вы понимаете же причины! – вскричал он отчаянно. – Алексей Иванович, Алексей Иванович!..

Ретируясь к дверям, я еще раз усиленно просил его не беспокоиться, обещал, что все обойдется хорошо и прилично, и поспешил выйти.

Иногда русские за границей бывают слишком трусливы и ужасно боятся того, что скажут и как на них поглядят, и будет ли прилично вот то-то и то-то? – одним словом, держат себя точно в корсете, особенно претендующие на значение. Самое любое для них – какая-нибудь предвзятая, раз установленная форма, которой они рабски следуют – в отелях, на гуляньях, в собраниях, в дороге... Но генерал проговорился, что у него, сверх того, были какие-то особые обстоятельства, что ему надо как-то «особенно держаться». Оттого-то он так вдруг малодушно и струсил и переменил со мной тон. Я это принял к сведению и заметил. И конечно, он мог сдуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было в самом деле быть осторожным.

Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить собственно генерала; но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мною так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести ее до того, чтобы она сама попросила меня остановиться. Мое школьничество могло, наконец, и ее компрометировать. Кроме того, во мне сформировались кой-какие другие ощущения и желания; если я, например, исчезаю пред нею самовольно в ничто, то это вовсе ведь не значит, что пред людьми я мокрая курица и уж, конечно, не барону «бить меня палкой». Мне захотелось над всеми ними насмеяться, а самому выйти молодцом. Пусть посмотрят. Небось! она испугается скандала и кликнет меня опять. А и не кликнет, так все-таки увидит, что я не мокрая курица...

(Удивительное известие: сейчас только услышал от нашей няни, которую встретил на лестнице, что Марья Филипповна отправилась сегодня, одна-одинешенька, в Карлсбад, с вечерним поездом, к двоюродной сестре. Это что за известие? Няня говорит, что она давно

собиралась; но как же этого никто не знал? Впрочем, может, я только не знал. Няня проговорила мне, что Марья Филипповна с генералом еще третьего дня крупно поговорила. Понимаю-с. Это, наверное, – *mademoiselle Blanche*. Да, у нас наступает что-то решительное.)

Глава VII

Наутро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Номер мой был не так еще дорог, чтоб очень пугаться и совсем выехать из отеля. У меня было шестнадцать фридрихсдоров, а там... там, может быть, богатство! Странное дело, я еще не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю, как богач, и не могу представлять себя иначе.

Я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлею в отель d'Angleterre, очень недалеко от нас, как вдруг вошел ко мне Де-Грие. Этого никогда еще не случилось, да, сверх того, с этим господином во все последнее время мы были в самых чуждых и в самых натянутых отношениях. Он явно не скрывал своего ко мне пренебрежения, даже старался не скрывать; а я – я имел свои собственные причины его не жаловать. Одним словом, я его ненавидел. Приход его меня очень удивил. Я тотчас же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось.

Вошел он очень любезно и сказал мне комплимент насчет моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился, неужели я так рано выхожу гулять. Когда же услышал, что я иду к мистеру Астлею по делу, подумал, сообразил, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченный вид.

Де-Грие был, как все французы, то есть веселый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость. Француз редко натурально любезен; он любезен всегда как бы по приказу, из расчета. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, понеобыденнее, то фантазия его, самая глупая и неестественная, слагается из заранее принятых и давно уже опошлившихся форм. Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности, – одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички и особенно русские барышни прельщаются французами. Всякому же порядочному существу тотчас же заметна и нестерпима эта казенщина раз установившихся форм салонной любезности, развязности и веселости.

– Я к вам по делу, – начал он чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, вежливо, – и не скрою, что к вам послом или, лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял; но генерал мне подробно объяснил, и признаюсь...

– Но послушайте, monsieur Де-Грие, – перебил я его, – вы вот и в этом деле взяли себя быть посредником. Я, конечно, «un outchitel» и никогда не претендовал на честь быть близким другом этого дома или на какие-нибудь особенно интимные отношения, а потому и не знаю всех обстоятельств; но разъясните мне: неужели вы уж теперь совсем принадлежите к членам этого семейства? Потому что вы, наконец, во всем берете такое участие, непременно, сейчас же во всем посредником...

Вопрос мой ему не понравился. Для него он был слишком прозрачен, а проговариваться он не хотел.

– Меня связывают с генералом отчасти дела, отчасти некоторые особенные обстоятельства, – сказал он сухо. – Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Все, что вы выдумали, конечно, очень остроумно; но он именно просил меня представить вам, что вам совершенно не удастся; мало того – вас барон не примет, и, наконец, во всяком случае он ведь имеет все средства избавиться от дальнейших неприятностей с вашей стороны. Согласитесь сами. К чему же, скажите, продолжать? Генерал же вам обещает, наверное, принять вас опять в свой дом, при первых удобных обстоятельствах, а до того времени зачесть ваше жалованье, vos appointements. Ведь это довольно выгодно, не правда ли?

Я возразил ему весьма спокойно, что он несколько ошибается; что, может быть, меня от барона и не прогонят, а, напротив, выслушают, и попросил его признаться, что, вероятно, он затем и пришел, чтоб выпытать: как именно я примусь за все это дело?

– О боже, если генерал так заинтересован, то, разумеется, ему приятно будет узнать, что и как вы будете делать? Это так естественно!

Я принялся объяснять, а он начал слушать, развалясь, несколько склонив ко мне набок голову, с явным, нескрываемым ироническим оттенком в лице. Вообще он держал себя чрезвычайно свысока. Я старался всеми силами притвориться, что смотрю на дело с самой серьезной точки зрения. Я объяснил, что так как барон обратился к генералу с жалобой на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых, – лишил меня этим места, а во-вторых, третировал меня как лицо, которое не в состоянии за себя ответить и с которым не стоит и говорить. Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным; однако, понимая разницу лет, положения в обществе и прочее, и прочее (я едва удерживался от смеха в этом месте), не хочу брать на себя еще нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему, об удовлетворении. Тем не менее я считаю себя совершенно вправе предложить ему, и особенно баронессе, мои извинения, тем более что действительно в последнее время я чувствую себя нездоровым, расстроенным и, так сказать, фантастическим и прочее, и прочее. Однако ж сам барон вчерашним обидным для меня обращением к генералу и настоянием, чтобы генерал лишил меня места, поставил меня в такое положение, что теперь я уже не могу представить ему и баронессе мои извинения, потому что и он, и баронесса, и весь свет, наверно, подумают, что я пришел с извинениями со страха, чтоб получить назад свое место. Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился предо мною сам, в самых умеренных выражениях, – например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И, когда барон это выскажет, тогда я уже, с развязанными руками, чистосердечно и искренно принесу ему и мои извинения. Одним словом, заключил я, я прошу только, чтобы барон развязал мне руки.

– Фи, какая щепетильность и какие утонченности! И чего вам извиняться? Ну согласитесь, *monsieur, monsieur*, что вы затеваете все это нарочно, чтобы досадить генералу... а может быть, имеете какие-нибудь особые цели... *mon cher monsieur... pardon, j'ai oublie votre nom, monsieur Alexis?.. n'est ce pas?*¹⁵

– Но позвольте, *mon cher marquis*, да вам что за дело?

– *Mais le general...*¹⁶

– А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен... и так тревожился... но я ничего не понял.

– Тут есть, – тут именно существует особое обстоятельство, – подхватил Де-Грие просящим тоном, в котором все более и более слышалась досада. – Вы знаете *mademoiselle de Cominges?*

– То есть *mademoiselle Blanche?*

– Ну да, *mademoiselle Blanche de Cominges... et madame sa mere...*¹⁷ согласитесь сами, генерал... одним словом, генерал влюблен и даже... даже, может быть, здесь совершится брак. И представьте при этом разные скандалы, истории...

– Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака.

– *No le baron est si irascible, un caractere prussien, vous savez, enfin il fera une querelle d'Allemand*¹⁸.

¹⁵ Дорогой мой... простите, я забыл ваше имя, Алексей?.. не так ли? (*франц.*)

¹⁶ Но генерал... (*франц.*)

¹⁷ Мадемуазель Бланш де Коменж... и ее мамашу... (*франц.*)

¹⁸ Барон так вспыльчив, прусский характер, знаете, он может устроить ссору из-за пустяков (*франц.*)

– Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому... (Я нарочно старался быть как можно бестолковее.) Но позвольте, так это решено, что mademoiselle Blanche выходит за генерала? Чего же ждут? Я хочу сказать – что скрывать об этом, по крайней мере от нас, от домашних?

– Я вам не могу... впрочем, это еще не совсем... однако... вы знаете, ждут из России известия; генералу надо устроить дела...

– А, а! la baboulinka!

Де-Грие с ненавистью посмотрел на меня.

– Одним словом, – перебил он, – я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт... вы, конечно, сделаете это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы...

– Помилуйте, я был выгнан! Вы вот утверждаете теперь, что это для виду; но согласитесь, если вам скажут: «Я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши...» Так ведь это почти все равно?

– Если так, если никакие просьбы не имеют на вас влияния, – начал он строго и заносчиво, – то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство, вас вышлют сегодня же, – que diable! un blan-bec comme vous¹⁹ хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон! И вы думаете, что вас оставят в покое? И поверьте, вас никто здесь не боится! Если я просил, то более от себя, потому что вы беспокоили генерала. И неужели, неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею?

– Да ведь я не сам пойду, – отвечал я с чрезвычайным спокойствием, – вы ошибаетесь, monsieur Де-Грие, все это обойдется гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлею и попрошу его быть моим посредником, одним словом, быть моим second²⁰. Этот человек меня любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Если сам я un outchitel и кажусь чем-то subalterne²¹, ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей – племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда Пиброка, и лорд этот здесь. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлей почтет это себе за личную обиду (вы знаете, как англичане настойчивы) и пошлет к барону от себя приятеля, а у него приятели хорошие. Разочтите теперь, что выйдет, может быть, и не так, как вы полагаете.

Француз решительно струсил; действительно, все это было очень похоже на правду, а стало быть, выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю.

– Но прошу же вас, – начал он совершенно умоляющим голосом, – оставьте все это! Вам точно приятно, что выйдет история! Вам не удовлетворения надобно, а истории! Я сказал, что все это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь, но, одним словом, – заключил он, видя, что я встал и беру шляпу, – я пришел вам передать эти два слова от одной особы, прочтите, – мне поручено ждать ответа.

Сказав это, он вынул из кармана и подал мне маленькую, сложенную и запечатанную облаткою записочку.

Рукою Полины было написано:

«Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать. Но тут есть особые обстоятельства, и я вам их потом, может быть, объясню; а вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь. Какие все это глупости! Вы мне нужны и сами обещались слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным и, если надо, приказываю. Ваша П. Р. S. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня».

¹⁹ Кой черт! молокосос, как вы (франц.).

²⁰ Секундантом (франц.).

²¹ Подчиненным (франц.).

У меня как бы все перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усиленно скромным видом и отводя от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мною.

– Хорошо, – ответил я, – скажите, чтобы mademoiselle была спокойна. Позвольте же, однако, вас спросить, – прибавил я резко, – почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого... если вы именно и пришли с этим поручением.

– О, я хотел... вообще все это так странно, что вы извините мое натуральное нетерпение. Мне хотелось поскорее узнать самому лично, от вас самих, ваши намерения. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке, и думал, что всегда успею передать.

– Понимаю, вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае, а если уладите на словах, то и не передавать. Так ли? Говорите прямо, monsieur Де-Грие!

– Peut-être²², – сказал он, принимая вид какой-то особенной сдержанности и смотря на меня каким-то особенным взглядом.

Я взял шляпу; он кивнул головой и вышел. Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе?

– Мы с тобой еще сочтемся, французишка, померимся! – бормотал я, сходя с лестницы.

Я еще ничего не мог сообразить, точно что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня.

Минуты через две, чуть-чуть только я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли: *первая* – что из таких пустяков, из нескольких школьнических, невероятных угроз мальчишки, высказанных вчера на лету, поднялась такая *всеобщая* тревога! и *вторая* мысль – каково же, однако, влияние этого французского на Полину? Одно его слово – и она делает все, что ему нужно, пишет записку и даже *просит* меня. Конечно, их отношения и всегда для меня были загадкой с самого начала, с тех пор как я их знать начал; однако ж в эти последние дни я заметил в ней решительное отвращение и даже презрение к нему, а он даже и не смотрел на нее, даже просто бывал с ней невежлив. Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении; у ней уже прорывались чрезвычайно значительные признания... Значит, он просто владеет ею, она у него в каких-то цепях...

²² Может быть (франц.).

Глава VIII

На променаде, как здесь называют, то есть в каштановой аллее, я встретил моего англичанина.

– О, о! – начал он, завидя меня, – я к вам, а вы ко мне. Так вы уж расстались с вашими?

– Скажите, во-первых, почему все это вы знаете, – спросил я в удивлении, – неужели все это всем известно?

– О нет, всем не известно; да и не стоит, чтоб было известно. Никто не говорит.

– Так почему вы это знаете?

– Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете? Я люблю вас и потому к вам пришел.

– Славный вы человек, мистер Астлей, – сказал я (меня, впрочем, ужасно поразило: откуда он знает?), – и так как я еще не пил кофе, да и вы, вероятно, его плохо пили, то пойдемте к вокзалу в кафе, там сядем, закурим, и я вам все расскажу, и... вы тоже мне расскажете.

Кафе был во ста шагах. Нам принесли кофе, мы уселись, я закурил папиросу, мистер Астлей ничего не закурил и, уставившись на меня, приготовился слушать.

– Я никуда не еду, я здесь остаюсь, – начал я.

– И я был уверен, что вы останетесь, – одобрительно произнес мистер Астлей.

Идя к мистру Астлею, я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине. Во все эти дни я не сказал с ним об этом почти ни одного слова. К тому же он был очень застенчив. Я с первого раза заметил, что Полина произвела на него чрезвычайное впечатление, но он никогда не упоминал ее имени. Но странно, вдруг, теперь, только что он уселся и уставился на меня своим пристальным оловянным взглядом, во мне, неизвестно почему, явилась охота рассказать ему все, то есть всю мою любовь и со всеми ее оттенками. Я рассказывал целые полчаса, и мне было это чрезвычайно приятно, в первый раз я об этом рассказывал! Заметив же, что в некоторых, особенно пылких местах он смущается, я нарочно усиливал пылкость моего рассказа. В одном раскаиваюсь: я, может быть, сказал кое-что лишнее про француза...

Мистер Астлей слушал, сидя против меня, неподвижно, не издавая ни слова, ни звука и глядя мне в глаза; но когда я заговорил про француза, он вдруг осадил меня и строго спросил: имею ли я право упоминать об этом постороннем обстоятельстве? Мистер Астлей всегда очень странно задавал вопросы.

– Вы правы: боюсь, что нет, – ответил я.

– Об этом маркизе и о мисс Полине вы ничего не можете сказать точного, кроме одних предположений?

Я опять удивился такому категорическому вопросу от такого застенчивого человека, как мистер Астлей.

– Нет, точного ничего, – ответил я, – конечно, ничего.

– Если так, то вы сделали дурное дело не только тем, что заговорили об этом со мною, но даже и тем, что про себя это подумали.

– Хорошо, хорошо! Сознаюсь; но теперь не в том дело, – перебил я, про себя удивляясь. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю, во всех подробностях, выходку Полины, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и, наконец, в подробности изложил сегодняшнее посещение Де-Грие, со всеми оттенками; в заключение показал ему записку.

– Что вы из этого выводите? – спросил я. – Я именно пришел узнать ваши мысли. Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку и, может быть, это сделаю.

– И я, – сказал мистер Астлей. – Что же касается до мисс Полины, то... вы знаете, мы вступаем в сношения даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость. Тут могут быть сношения вам не известные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, что вы можете успокоиться – отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка ее, то он, конечно, странен, – не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона (которую, я не понимаю почему, он не употребил, имея в руках), а потому, что такая выходка для такой... для такой превосходной мисс – неприлична. Разумеется, она не могла предугадать, что вы буквально исполните ее насмешливое желание.

– Знаете ли что? – вскричал я вдруг, пристально всматриваясь в мистера Астлея, – мне кажется, что вы уже о всем об этом слышали, знаете от кого? – от самой мисс Полины!

Мистер Астлей посмотрел на меня с удивлением.

– У вас глаза сверкают, и я читаю в них подозрение, – проговорил он, тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие, – но вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого права и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос.

– Ну, довольно! И не надо! – закричал я, странно волнуясь и не понимая, почему вскопало это мне в мысль! И когда, где, каким образом мистер Астлей мог бы быть выбран Полиною в поверенные? В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астлея, а Полина и всегда была для меня загадкой, – до того загадкой, что, например, тепер, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Астлею, я вдруг, во время самого рассказа, был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее.

– Ну, хорошо, хорошо; я сбит с толку и тепер еще многого не могу сообразить, – отвечал я, точно запыхавшись. – Впрочем, вы хороший человек. Тепер другое дело, и я прошу вашего – не совета, а мнения.

Я помолчал и начал:

– Как вы думаете, почему так струсил генерал? почему из моего глупейшего шалопайничества они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам Де-Грие нашел необходимым вмешаться (а он вмешивается только в самых важных случаях), посетил меня (каково!), просил, умолял меня – он, Де-Грие, меня! Наконец, заметьте себе, он пришел в девять часов, в конце девятого, и уж записка мисс Полины была в его руках. Когда же, спрашивается, она была написана? Может быть, мисс Полину разбудили для этого! Кроме того, что из этого я вижу, что мисс Полина его раба (потому что даже у меня просит прощения!); кроме этого, ей-то что во всем этом, ей лично? Она для чего так интересуется? Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на *mademoiselle Blanche de Cominges*? Они говорят, что им как-то *особенно* держать себя вследствие этого обстоятельства надо, – но ведь это уж слишком особенно, согласитесь сами! Как вы думаете? Я по глазам вашим убежден, что вы и тут более меня знаете!

Мистер Астлей усмехнулся и кивнул головой.

– Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю, – сказал он. – Тут все дело касается одной *mademoiselle Blanche*, и я уверен, что это совершенная истина.

– Ну, что ж *mademoiselle Blanche*? – вскричал я с нетерпением (у меня вдруг явилась надежда, что тепер что-нибудь откроется о m-lle Полине).

– Мне кажется, что *mademoiselle Blanche* имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой, – тем более встречи неприятной, еще хуже – скандальной.

– Ну! Ну!

– *Mademoiselle Blanche* третьего года, во время сезона уже была здесь, в Рулетенбурге. И я тоже здесь находился. *Mademoiselle Blanche* тогда не называлась *mademoiselle de Cominges*,

равномерно и мать ее *madame veuve*²³ Cominges тогда не существовала. По крайней мере о ней не было и помину. Де-Грие – Де-Грие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собою, но даже и знакомы весьма недавно. Маркизом Де-Грие стал тоже весьма недавно – я в этом уверен по одному обстоятельству. Даже можно предположить, что он и Де-Грие стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем.

– Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомства?

– О, это может быть. Даже *mademoiselle Blanche* его может иметь. Но третьего года *mademoiselle Blanche*, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его.

– Как так?

– Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем, с историческим именем что-то вроде *Барберини* или что-то похожее. Человек весь в перстнях и бриллиантах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. *Mademoiselle Blanche* играла в *trente et quarante* сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастье; так я припоминаю. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму. Но всего хуже, что *un beau matin*²⁴ ее князь исчез неизвестно куда; исчезли и лошади, и экипаж – все исчезло. Долг в отеле ужасный. *Mademoiselle Зельма* (вместо Барберини она вдруг обратилась в *mademoiselle Зельму*) была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф (все путешествующие поляки – графы), и *mademoiselle Зельма*, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо своими прекрасными, вымытыми в духах, руками, произвела на него некоторое впечатление. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в воксале. *Mademoiselle Зельма* смеялась, по своему обыкновению, весьма громко, и в манерах ее оказалось несколько более развязности. Она поступила прямо в тот разряд играющих на рулетке дам, которые, подходя к столу, изо всей силы отталкивают плечом игрока, чтобы очистить себе место. Это особенный здесь шик у этих дам. Вы их, конечно, заметили?

– О да.

– Не стоит и замечать. К досаде порядочной публики, они здесь не переводятся, по крайней мере те из них, которые меняют каждый день у стола тысячефранковые билеты. Впрочем, как только они перестают менять билеты, их тотчас просят удалиться. *Mademoiselle Зельма* еще продолжала менять билеты, но игра ее шла еще несчастливее. Заметьте себе, что эти дамы весьма часто играют счастливо; у них удивительное владение собою. Впрочем, история моя кончена. Однажды, точно так же как и князь, исчез и граф. *Mademoiselle Зельма* явилась вечером играть уже одна; на этот раз никто не явился предложить ей руку. В два дня она проигралась окончательно. Поставив последний луидор и проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но *mademoiselle Зельма* не разглядела негодования и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на красную десять луидоров. Вследствие этого, по жалобе баронессы, она к вечеру получила приглашение не показываться более в воксале. Если вы удивляетесь, что мне известны все эти мелкие и совершенно неприличные подробности, то это потому, что слышал я их окончательно от мистера Фидера, одного моего родственника, который в тот же вечер увез в своей коляске *mademoiselle Зельму* из Рулетенбурга в Спа. Теперь поймите: *mademoiselle Blanche* хочет быть генеральшей, вероятно для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как третьего года от полиции воксала. Теперь она уже не играет; но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который

²³ Вдова (франц.)

²⁴ В одно прекрасное утро (франц.).

она ссужает здешним игрокам на проценты. Это гораздо расчетливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и Де-Грие. Может быть, Де-Грие с ней в компании. Согласитесь сами, что, по крайней мере до свадьбы, она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. Одним словом, в ее положении ей всего менее выгоден скандал. Вы же связаны с их домом, и ваши поступки могли возбудить скандал, тем более что она каждодневно является в публике под руку с генералом или с мисс Полиною. Теперь понимаете?

– Нет, не понимаю! – вскричал я, изо всей силы стукнув по столу так, что *garçon*²⁵ прибежал в испуге.

– Скажите, мистер Астлей, – повторил я в исступлении, – если вы уже знали всю эту историю, а следственно, знаете наизусть, что такое *mademoiselle Blanche de Cominges*, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала, наконец, а главное, мисс Полину, которая показывалась здесь в воксале, в публике, с *mademoiselle Blanche* под руку? Разве это возможно?

– Вас предупреждать мне было нечего, потому что вы ничего не могли сделать, – спокойно отвечал мистер Астлей. – А впрочем, и о чем предупреждать? Генерал, может быть, знает о *mademoiselle Blanche* еще более, чем я, и все-таки прогуливается с нею и с мисс Полиной. Генерал – несчастный человек. Я видел вчера, как *mademoiselle Blanche* скакала на прекрасной лошади с *monsieur* Де-Грие и с этим маленьким русским князем, а генерал скакал за ними на рыжей лошади. Он утром говорил, что у него болят ноги, но посадка его была хороша. И вот в это-то мгновение мне вдруг пришло на мысль, что это совершенно погибший человек. К тому же все это не мое дело, и я только недавно имел честь узнать мисс Полину. А впрочем (спохватился вдруг мистер Астлей), я уже сказал вам, что не могу признать ваши права на некоторые вопросы, несмотря на то, что искренно вас люблю...

– Довольно, – сказал я, вставая, – теперь мне ясно, как день, что и мисс Полине все известно о *mademoiselle Blanche*, но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с *mademoiselle Blanche*. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы ее гулять с *mademoiselle Blanche* и умолять меня в записке не трогать барона. Тут именно должно быть это влияние, пред которым все склоняется! И, однако, ведь она же меня и напустила на барона! Черт возьми, тут ничего не разберешь!

– Вы забываете, во-первых, что эта *mademoiselle de Cominges* – невеста генерала, а во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра, родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, а кажется, и ограбленные.

– Да, да! это так! уйти от детей – значит уж совершенно их бросить, остаться – значит защитить их интересы, а может быть, и спасти клочки имения. Да, да, все это правда! Но все-таки, все-таки! О, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой!

– О ком? – спросил мистер Астлей.

– О той старой ведьме в Москве, которая не умирает и о которой ждут телеграммы, что она умрет.

– Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился. Все дело в наследстве! Объявится наследство, и генерал женится; мисс Полина будет тоже развязана, а Де-Грие...

– Ну, а Де-Грие?

– А Де-Грие будут заплачены деньги; он того только здесь и ждет.

– Только! вы думаете, только этого и ждет?

– Более я ничего не знаю, – упорно замолчал мистер Астлей.

²⁵ Официант (*франц.*).

– А я знаю, я знаю! – повторил я в ярости, – он тоже ждет наследства, потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы! И самые гордые из них – самыми-то пошлыми рабами и выходят! Полина способна только страстно любить и больше ничего! Вот мое мнение о ней! Поглядите на нее, особенно когда она сидит одна, задумавшись: это – что-то предназначенное, приговоренное, проклятое! Она способна на все ужасы жизни и страсти... она... она... но кто это зовет меня? – воскликнул я вдруг. – Кто кричит? Я слышал, закричали по-русски: «Алексей Иванович!» Женский голос, слышите, слышите!

В это время мы подходили к нашему отелю. Мы давно уже, почти не замечая того, оставили кафе.

– Я слышал женские крики, но не знаю, кого зовут; это по-русски; теперь я вижу, откуда крики, – указывал мистер Астлей, – это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле и которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Сзади несут чемоданы, значит, только что приехал поезд.

– Но почему она зовет меня? Она опять кричит; смотрите, она нам машет.

– Я вижу, что она машет, – сказал мистер Астлей.

– Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ах, господи, что это за олух! – раздавались отчаянные крики с крыльца отеля.

Мы почти побежали к подъезду. Я вступил на площадку и... руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню.

Глава IX

На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенная по ступеням в креслах и окруженная слугами, служанками и многочисленную подобострастную челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, с собственной прислугой и с столькими баулами и чемоданами, восседала – *бабушка!* Да, это была она сама, грозная и богатая, семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, *la baboulinka*, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшая и не умершая и которая вдруг сама, собственноручно, явилась к нам как снег на голову. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние пять лет, в креслах, но, по обыкновению своему, бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громко и повелительно кричащая, всех бранящая, – ну точь-в-точь такая, как я имел честь видеть ее раза два, с того времени как определился в генеральский дом учителем. Естественно, что я стоял пред нею истуканом от удивления. Она же разглядела меня своим рысьим взглядом еще за сто шагов, когда ее вносили в креслах, узнала и кликнула меня по имени и отчеству, что тоже, по обыкновению своему, раз навсегда запомнила. «И эдакую-то вдали видеть в гробу, схороненную и оставившую наследство, – пролетело у меня в мыслях, – да она всех нас и весь отель переживет! Но, боже, что ж это будет теперь с нашими, что будет теперь с генералом! Она весь отель теперь перевернет на сторону!»

– Ну что ж ты, батюшка, стал предо мною, глаза выпучил! – продолжала кричать на меня бабушка, – поклониться-поздороваться не умеешь, что ли? Аль загордился, не хочешь? Аль, может, не узнал? Слышишь, Потапыч, – обратилась она к седому старичку, во фраке, в белом галстуке и с розовой лысиной, своему дворецкому, сопровождавшему ее в вояже, – слышишь, не узнает! Схоронили! Телеграмму за телеграммою посылали: умерла али не умерла? Ведь я все знаю! А я, вот видишь, и живехонька.

– Помилуйте, Антонида Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? – весело отвечал я очнувшись, – я только был удивлен... Да и как же не подивиться, так неожиданно...

– А что тебе удивительного? Села да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять ходил, что ли?

– Да, прошелся к вокзалу.

– Здесь хорошо, – сказала бабушка, озираясь, – тепло и деревья богатые. Это я люблю! Наши дома? Генерал?

– О! дома, в этот час, наверно, все дома.

– А у них и здесь часы заведены и все церемонии? Тону задают. Экипаж, я слышала, держат, *les seigneurs gusses!*²⁶ Просвистались, так и за границу! И Прасковья с ним?

– И Полина Александровна тоже.

– И французишка? Ну да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу, прямо к нему. Тебе-то здесь хорошо ли?

– Так себе, Антонида Васильевна.

– А ты, Потапыч, скажи этому олуху, кельнеру, чтоб мне удобную квартиру отвели, хорошую, не высоко, туда и вещи сейчас перенеси. Да чего всем-то соваться меня нести? Чего они лезут? Экие рабы! Это кто с тобой? – обратилась она опять ко мне.

– Это мистер Астлей, – отвечал я.

– Какой такой мистер Астлей?

– Путешественник, мой добрый знакомый; знаком и с генералом.

²⁶ Русские вельможи (*франц.*).

– Англичанин. То-то он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан. Ну, тащите наверх, прямо к ним на квартиру; где они там?

Бабушку понесли; я шел впереди по широкой лестнице отеля. Шествие наше было очень эффектное. Все, кто попадались, – останавливались и смотрели во все глаза. Наш отель считался самым лучшим, самым дорогим и самым аристократическим на водах. На лестнице и в коридорах всегда встречаются великолепные дамы и важные англичане. Многие осведомлялись внизу у обер-кельнера, который, с своей стороны, был глубоко поражен. Он, конечно, отвечал всем спрашивавшим, что это важная иностранка, *une russe, une comtesse, grande dame*²⁷ и что она займет то самое помещение, которое за неделю тому назад занимала *la grande duchesse de N*²⁸. Повелительная и властительная наружность бабушки, возносимой в креслах, была причиною главного эффекта. При встрече со всяким новым лицом она тотчас обмеривала его любопытным взглядом и о всех громко меня спрашивала. Бабушка была из крупной породы, и хотя и не вставала с кресел, но предчувствовалось, глядя на нее, что она весьма высокого роста. Спина ее держалась прямо, как доска, и не опиралась на кресло. Седая, большая ее голова, с крупными и резкими чертами лица, держалась вверх; глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом; и видно было, что взгляд и жесты ее совершенно натуральны. Несмотря на семьдесят пять лет, лицо ее было довольно свежо и даже зубы не совсем пострадали. Одетая она была в черном шелковом платье и в белом чепчике.

– Она чрезвычайно интересуется меня, – шепнул мне, подымаясь рядом со мною, мистер Астлей.

«О телеграммах она знает, – подумал я, – Де-Грие ей тоже известен, но *m-lle Blanche* еще, кажется, мало известна». Я тотчас же сообщил об этом мистеру Астлею.

Грешный человек! только что прошло мое первое удивление, я ужасно обрадовался громовому удару, который мы произведем сейчас у генерала. Меня точно что подзадоривало, и я шел впереди чрезвычайно весело.

Наши квартировали в третьем этаже; я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Все они были, как нарочно, в сборе, в кабинете генерала. Было двенадцать часов, и, кажется, проектировалась какая-то поездка, – одни собирались в колясках, другие верхами, всей компанией; кроме того, были еще приглашенные из знакомых. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки, находились в кабинете: Де-Грие, *m-lle Blanche*, опять в амазонке, ее мать *madame veuve Cominges*, маленький князь и еще какой-то ученый путешественник, немец, которого я видел у них еще в первый раз. Кресла с бабушкой прямо опустили посредине кабинета, в трех шагах от генерала. Боже, никогда не забуду этого впечатления! Пред нашим входом генерал что-то рассказывал, а Де-Грие его поправлял. Надо заметить, что *m-lle Blanche* и Де-Грие вот уже два-три дня почему-то очень ухаживали за маленьким князем – *à la barbe du pauvre général*²⁹, и компания хоть, может быть, и искусственно, но была настроена на самый веселый и радушно-семейный тон. При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полслове. Он смотрел на нее, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно, – но что это был за торжествующий, вызывающий и насмешливый взгляд! Они просмотрели так друг на друга секунд десять битых, при глубоком молчании всех окружающих. Де-Грие сначала оцепенел, но скоро необыкновенное беспокойство замелькало в его лице. *M-lle Blanche* подняла брови, раскрыла рот и дико разглядывала бабушку. Князь и ученый в глубоком недоумении созерцали всю эту картину. Во взгляде Полины выразилось чрезвычайно удивление и недоумение, но вдруг она побледнела, как платок; чрез минуту кровь

²⁷ Русская, графиня, важная дама (франц.).

²⁸ Великая герцогиня де Н. (франц.).

²⁹ Под носом у бедного генерала (франц.).

быстро ударила ей в лицо и залила ей щеки. Да, это была катастрофа для всех! Я только и делал, что переводил мои взгляды от бабушки на всех окружающих и обратно. Мистер Астлей стоял в стороне, по своему обыкновению, спокойно и чинно.

– Ну, вот и я! Вместо телеграммы-то! – разразилась наконец бабушка, прерывая молчание. – Что, не ожидали?

– Антонида Васильевна... тетушка... но каким же образом... – пробормотал несчастный генерал. Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то, может быть, с ним был бы удар.

– Как каким образом? Села да поехала. А железная-то дорога на что? А вы все думали: я уж ноги протянула и вам наследство оставила? Я ведь знаю, как ты отсюда телеграммы-то посылал. Денег-то что за них переплатил, я думаю. Отсюда не дешево. А я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз? Monsieur Де-Грие, кажется?

– Oui, madame, – подхватил Де-Грие, – et croyez, je suis si enchanté... votre santé... c'est un miracle... vous voir ici, une surprise charmante...³⁰

– То-то charmante; знаю я тебя, фигляр ты эдакой, да я-то тебе вот на столечко не верю! – и она указала ему свой мизинец. – Это кто такая, – обратилась она, указывая на m-lle Blanche. Эффектная француженка, в амазонке, с хлыстом в руке, видимо, ее поразила. – Здешняя, что ли?

– Это mademoiselle Blanche de Cominges, а вот и маменька ее madame de Cominges; они квартируют в здешнем отеле, – доложил я.

– Замужем дочь-то? – не церемонясь, расспрашивала бабушка.

– Mademoiselle de Cominges девица, – отвечал я как можно почтительнее и нарочно вполголоса.

– Веселая?

Я было не понял вопроса.

– Не скучно с нею? По-русски понимает? Вот Де-Грие у нас в Москве намастачился по-нашему-то, с пятого на десятое.

Я объяснил ей, что mademoiselle de Cominges никогда не была в России.

– Bonjour! – сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к m-lle Blanche.

– Bonjour, madame, – церемонно и изящно присела m-lle Blanche, поспешив, под покровом необыкновенной скромности и вежливости, выказать всем выражением лица и фигуры чрезвычайное удивление к такому странному вопросу и обращению.

– О, глаза опустила, манерничает и церемонничает; сейчас видна птица; актриса какая-нибудь. Я здесь в отеле внизу остановилась, – обратилась она вдруг к генералу, – соседка тебе буду; рад или не рад?

– О тетушка! Поверьте искренним чувствам... моего удовольствия, – подхватил генерал. Он уже отчасти опомнился, а так как при случае он умел говорить удачно, важно и с претензией на некоторый эффект, то принялся распространяться и теперь. – Мы были так встревожены и поражены известиями о вашем здоровье... Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг...

– Ну, врешь, врешь! – перебила тотчас бабушка.

– Но каким образом, – тоже поскорей перебил и возвысил голос генерал, постаравшись не заметить этого «врешь», – каким образом вы, однако, решились на такую поездку? Согласитесь сами, что в ваших летах и при вашем здоровье... по крайней мере все это так неожиданно, что понятно наше удивление. Но я так рад... и мы все (он начал умильно и восторженно улыбаться) постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением...

³⁰ Да, сударыня... И поверьте, я в таком восторге... ваше здоровье... это чудо... видеть вас здесь... прелестный сюрприз... (франц.)

– Ну, довольно; болтовня пустая; нагородил по обыкновению; я и сама сумею прожить. Впрочем, и от вас не прочь; зла не помню. Каким образом, ты спрашиваешь. Да что тут удивительного? Самым простейшим образом. И чего они все удивляются. Здравствуй, Прасковья. Ты здесь что делаешь?

– Здравствуйте, бабушка, – сказала Полина, приближаясь к ней, – давно ли в дороге?

– Ну, вот эта умнее всех спросила, а то: ах да ах! Вот видишь ты: лежала-лежала, лечили-лечили, я докторов прогнала и позвала пономаря от Николы. Он от такой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил. Ну, и мне помог; на третий день вся вспотела и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки и стали рядить: «Если бы теперь, говорят, за границу на воды и курс взять, так совсем бы завалы прошли». А почему же нет, думаю? Дурь-Зажигины разахались: «Куда вам, говорят, доехать!» Ну, вот те на! В один день собралась и на прошлой неделе в пятницу взяла девушку, да Потапыча, да Федора лакея, да этого Федора из Берлина и прогнала, потому: вижу, совсем его не надо, и одна-одинешенька доехала бы... Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть, за двугривенный куда хочешь донесут. Ишь вы квартиру нанимаете какую! – заключила она, осматриваясь. – Из каких это ты денег, батюшка? Ведь все у тебя в залоге. Одному этому французишке что должен деньжищ-то! Я ведь все знаю, все знаю!

– Я, тетушка... – начал генерал, весь сконфузившись, – я удивляюсь, тетушка... я, кажется, могу и без чьего-либо контроля... притом же мои расходы не превышают моих средств, и мы здесь...

– У тебя-то не превышают? сказал! У детей-то, должно быть, последнее уж заградил, опекун!

– После этого, после таких слов... – начал генерал в негодовании, – я уже и не знаю...

– То-то не знаешь! небось здесь от рулетки не отходишь? Весь просвистался?

Генерал был так поражен, что чуть не захлебнулся от прилива взволнованных чувств своих.

– На рулетке! Я? При моем значении... Я? Опомнитесь, матушка, вы еще, должно быть, нездоровы...

– Ну, врешь, врешь; небось оттащить не могут; все врешь! Я вот посмотрю, что это за рулетка такая, сегодня же. Ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают, да вот и Алексей Иванович покажет, а ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают? – обратилась вдруг она опять к Полине.

– Здесь есть близко развалины замка, потом Шлангенберг.

– Что это Шлангенберг? Роща, что ли?

– Нет, не роща, это гора; там пуант...

– Какой такой пуант?

– Самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный.

– Это на гору-то кресла тащить? Встащут аль нет?

– О, носильщиков сыскать можно, – отвечал я.

В это время подошла здороваться к бабушке Федосья, нянюшка, и подвела генеральских детей.

– Ну, нечего лобызаться! Не люблю целоваться с детьми: все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосья?

– Здесь очинно, очинно хорошо, матушка Антонида Васильевна, – ответила Федосья. – Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались.

– Знаю, ты-то простая душа. Это что у вас, все гости, что ли? – обратилась она опять к Полине. – Это кто плюгавенький-то, в очках?

– Князь Нильский, бабушка, – прошептала ей Полина.

– А, русский? А я думала, не поймет! Не слышал, может быть! Мистера Астлея я уже видела. Да вот он опять, – увидела его бабушка, – здравствуйте! – обратилась она вдруг к нему.

Мистер Астлей молча ей поклонился.

– Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь! Переведи ему это, Полина.

Полина перевела.

– То, что я гляжу на вас с большим удовольствием и радуюсь, что вы в добром здоровье, – серьезно, но с необычайною готовностью ответил мистер Астлей. Бабушке перевели, и ей, видимо, это понравилось.

– Как англичане всегда хорошо отвечают, – заметила она. – Я почему-то всегда любила англичан, сравнения нет с французишками! Заходите ко мне, – обратилась она опять к мистери Астлею. – Постараюсь вас не очень беспокоить. Переведи это ему, да скажи ему, что я здесь внизу, здесь внизу, – слышите, внизу, внизу, – повторяла она мистери Астлею, указывая пальцем вниз.

Мистер Астлей был чрезвычайно доволен приглашением.

Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину.

– Я бы тебя, Прасковья, любила, – вдруг сказала она, – девка ты славная, лучше их всех, да характершко у тебя – ух! Ну да и у меня характер; повернись-ка; это у тебя не накладка в волосах-то?

– Нет, бабушка, свои.

– То-то, не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если б была кавалером. Чего замуж-то не выходишь? Но, однако, пора мне. И погулять хочется, а то все вагон да вагон... Ну что ты, все еще сердисься? – обратилась она к генералу.

– Помилуйте, тетушка, полноте! – спохватился обрадованный генерал, – я понимаю, в ваши лета...

– *Cette vieille est tombée en enfance*³¹, – шепнул мне Де-Грие.

– Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне Алексея Ивановича-то уступишь? – продолжала бабушка генералу.

– О, сколько угодно, но я и сам... и Полина, и *monsieur* Де-Грие... мы все, все сочтем за удовольствие вам сопутствовать...

– *Mais, madame, cela sera un plaisir*³², – подвернулся Де-Грие с обворожительной улыбкой.

– То-то, *plaisir*. Смешон ты мне, батюшка. Денег-то я тебе, впрочем, не дам, – прибавила она вдруг генералу. – Ну, теперь в мой номер: осмотреть надо, а потом и отправимся по всем местам. Ну, подымайте.

Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой, вслед за креслами, вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубины по голове. Де-Грие что-то соображал. *Mlle Blanche* хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За нею тотчас же отправился и князь, и наверху, в квартире генерала, остались только немец и *madame veuve Cominges*.

³¹ Эта старуха впала в детство (*франц.*).

³² Но, сударыня, это будет удовольствие (*франц.*).

Глава X

На водах – да, кажется, и во всей Европе – управляющие отелями и обер-кельнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их, сколько собственным личным своим на них взглядом; и, надо заметить, редко ошибаются. Но бабушке, уж неизвестно почему, отвели такое богатое помещение, что даже пересолили: четыре великолепно убранные комнаты, с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее, и прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то *grande duchesse*, о чем, конечно, тотчас же и объявлялось новым посетителям, для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли, или лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обер-кельнер, уже пожилой человек, с плешивой головой, почтительно сопровождал ее при этом первом осмотре.

Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но, кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас: «*Madame la générale princesse de Tarassevitcheva*»³³, хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков, прибывших с бабушкой, вероятно, послужили началом престижа; а кресла, резкий тон и голос бабушки, ее эксцентрические вопросы, делаемые с самым не стесняющимся и не терпящим никаких возражений видом, одним словом, вся фигура бабушки – прямая, резкая, повелительная, – довершали всеобщее к ней благоговение. При осмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресла, указывала на какую-нибудь вещь в мебелировке и обращалась с неожиданными вопросами к почтительно улыбававшемуся, но уже начинавшему трусить обер-кельнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила, впрочем, довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы обер-кельнера большею частью ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да и она-то спрашивала все как будто не об деле, а бог знает о чем. Вдруг, например, остановилась перед картиною – довольно слабой копией с какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом.

– Чей портрет?

Обер-кельнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графини.

– Как же ты не знаешь? Здесь живешь, а не знаешь. Почему он здесь? Зачем глаза косые?

На все эти вопросы обер-кельнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся.

– Вот болван-то! – отозвалась бабушка по-русски.

Ее понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынести, неизвестно за что. Наконец пристала к обер-кельнеру: что стоили ковры в спальне и где их ткут? Обер-кельнер обещал справиться.

– Вот ослы-то! – ворчала бабушка и обратила все свое внимание на кровать.

– Эдакий пышный балдахин! Разверните его.

Постель развернули.

– Еще, еще, все разверните. Снимите подушки, наволочки, подымите перину.

Все перевернули. Бабушка осмотрела внимательно.

– Хорошо, что у них клопов нет. Все белье долой! Постлать мое белье и мои подушки.

Однако все это слишком пышно, куда мне, старухе, такую квартиру: одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить.

– Я со вчерашнего дня не служу более у генерала, – ответил я, – и живу в отеле совершенно сам по себе.

³³ Госпожа генеральша, княгиня Тарасевичева (*франц.*).

– Это почему так?

– На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой, супругой, из Берлина. Я вчера, на гулянье, заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения.

– Ну, так что же?

– Он счел это дерзостью и пожаловался генералу, а генерал вчера же уволил меня в отставку.

– Да что ж ты обругал, что ли, его, барона-то? (Хоть бы и обругал, так ничего!)

– О нет. Напротив, барон на меня палку поднял.

– И ты, слюняй, позволил так обращаться с своим учителем, – обратилась она вдруг к генералу, – да еще его с места прогнал! Колпаки вы, – все колпаки, как я вижу.

– Не беспокойтесь, тетушка, – отвечал генерал с некоторым высокомерно-фамильярным оттенком, – я сам умею вести мои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал.

– А ты так и снес? – обратилась она ко мне.

– Я хотел было на дуэль вызвать барона, – отвечал я как можно скромнее и спокойнее, – да генерал воспротивился.

– Это зачем ты воспротивился? – опять обратилась бабушка к генералу. (А ты, батюшка, ступай, придешь, когда позовут, – обратилась она тоже и к обер-кельнеру, – нечего разиня-то рот стоять. Терпеть не могу эту харю нюрнбергскую!) – Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки.

– Помилуйте, тетушка, разве дуэли возможны? – отвечал с усмешкой генерал.

– А почему невозможны? Мужчины все петухи; вот бы и дрались. Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечества своего поддержать. Ну, подымите! Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы два носильщика, найми и уговорись. Больше двух не надо. Носить приходится только по лестницам, а по гладкому, по улице – катить, так и расскажи; да заплати еще им вперед, почтительнее будут. Ты же сам будь всегда при мне, а ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянье: какой такой фон-барон, хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка?

Я объяснил, что рулетки расположены в воксале, в залах. Затем последовали вопросы: много ли их? много ль играют? целый ли день играют? как устроены? Я отвечал, наконец, что всего лучше осмотреть это собственными глазами, а что так описывать довольно трудно.

– Ну, так и нести прямо туда! Иди вперед, Алексей Иванович!

– Как, неужели, тетушка, вы даже и не отдохнете с дороги? – заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился, да и все они как-то замешались и стали переглядываться. Вероятно, им было несколько щекотливо, даже стыдно сопровождать бабушку прямо в воксал, где она, разумеется, могла наделать каких-нибудь эксцентричностей, но уже публично; между тем все они сами вызвались сопровождать ее.

– А чего мне отдыхать? Не устала; и без того пять дней сидела. А потом посмотрим, какие тут ключи и воды целебные и где они. А потом... как этот, – ты сказала, Прасковья, – пуант, что ли?

– Пуант, бабушка.

– Ну пуант, так пуант. А еще что здесь есть?

– Тут много предметов, бабушка, – затруднилась было Полина.

– Ну, сама не знаешь! Марфа, ты тоже со мной пойдешь, – сказала она своей камеристке.

– Но зачем же ей-то, тетушка? – захлопотал вдруг генерал, – и, наконец, это нельзя; и Потапыча вряд ли в самый воксал пустят.

– Ну, вздор! Что она слуга, так и бросить ее! Тоже ведь живой человек; вот уж неделю по дорогам рыщем, тоже и ей посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня? Одна-то и нос на улицу показать не посмеет.

– Но, бабушка...

– Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашивают. Ишь, какой генерал; я и сама генеральша. Да и чего вас такой хвост за мной, в самом деле, потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все осматриваю...

Но Де-Грие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. Все тронулись.

– Elle est tombée en enfance, – повторял Де-Грие генералу, – seule elle fera des bêtises...³⁴ – далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а может быть, даже возвратились и надежды.

До воксала было с полверсты. Путь наш шел по каштановой аллее, до сквера, обходя который вступали прямо в воксал. Генерал несколько успокоился, потому что шествие наше хотя и было довольно эксцентрично, но тем не менее было чинно и прилично. Да и ничего удивительного не было в том факте, что на водах явился больной и расслабленный человек, без ног. Но, очевидно, генерал боялся воксала: зачем больной человек, без ног, да еще старушка, пойдет на рулетку? Полина и m-lle Blanche шли обе по сторонам, рядом с катившимся креслом. M-lle Blanche смеялась, была скромно весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой, так что та ее наконец похвалила. Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы бабушки, вроде того: «Кто это прошел? какая это проехала? велик ли город? велик ли сад? это какие деревья? это какие горы? летают ли тут орлы? какая это смешная крыша?» Мистер Астлей шел рядом со мной и шепнул мне, что многого ожидает в это утро. Потапыч и Марфа шли сзади, сейчас за креслами, – Потапыч в своем фраке, в белом галстуке, но в картузе, а Марфа – сорокалетняя, румяная, но начинавшая уже сесть девушка – в чепчике, в ситцевом платье и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Де-Грие и генерал немного отстали и говорили о чем-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл; Де-Грие говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял; очевидно, что-то советовал. Но бабушка уже произнесла давеча роковую фразу: «Денег я тебе не дам». Может быть, для Де-Грие это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тетушку. Я заметил, что Де-Грие и m-lle Blanche продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи: они отстали и куда-то ушли от нас.

В воксал мы прибыли с триумфом. В швейцаре и в лакеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля. Смотрели они, однако, с любопытством. Бабушка сначала велела обнести себя по всем залам; иное похвалила, к другому осталась совершенно равнодушна; обо всем расспрашивала. Наконец дошли и до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настезь.

Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. За игорными рулеточными столами и на другом конце залы, где помещался стол с *trente et quarante*, толпилось, может быть, полтора или двести игроков, в несколько рядов. Те, которые успевали протесниться к самому столу, по обыкновению, стояли крепко и не упустили своих мест до тех пор, пока не проигрывались; ибо так стоять простыми зрителями и даром занимать игорное место не позволено. Хотя кругом стола и уставлены стулья, но немногие из игроков садятся, особенно при большом стечении публики, потому что стоя можно установиться теснее и, следовательно, выгадать место, да и ловчее ставить. Второй и третий ряды теснились за первыми, ожидая и наблюдая свою очередь; но в нетерпении просовывали иногда чрез первый ряд руку,

³⁴ Она наделает глупостей (*франц.*).

чтоб поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки; от этого не проходило десяти и даже пяти минут, чтоб на каком-нибудь конце стола не началась «история» за спорные ставки. Полиция воксала, впрочем, довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя; напротив, наплыву публики рады, потому что это выгодно; но восемь круперов, сидящих кругом стола, смотрят во все глаза за ставками, они же и рассчитываются, а при возникающих спорах они же их и разрешают. В крайних же случаях зовут полицию, и дело кончается в минуту. Полицейские помещаются тут же в зале, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя. Они особенно смотрят за воришками и промышленниками, которых на рулетках особенно много, по необыкновенному удобству промысла. В самом деле, везде в других местах воровать приходится из карманов и из-под замков, а это, в случае неудачи, очень хлопотливо оканчивается. Тут же, просто-запросто, стоит только к рулетке подойти, начать играть и вдруг, явно и гласно, взять чужой выигрыш и положить в свой карман; если же затеется спор, то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка – его собственная. Если дело сделано ловко и свидетели колеблются, то вор очень часто успеваает оттягать деньги себе, разумеется, если сумма не очень значительная. В последнем случае она, наверное, бывает замечена крупёрами или кем-нибудь из других игроков еще прежде. Но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор, совестясь скандала, и отходит. Но если успеют вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом.

На все это бабушка смотрела издали, с диким любопытством. Ей очень понравилось, что воришек выводят. Trente et quarante мало возбудило ее любопытство; ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала, наконец, разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суetsyающиеся агенты (преимущественно проигравшиеся полячки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам) тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю эту тесноту, у самой середины стола, подле главного крупёра, и подкатили туда ее кресло. Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру (преимущественно англичане с их семействами), тотчас же затеснились к столу, чтобы из-за игроков поглядеть на бабушку. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. У крупёров родились надежды: такой эксцентрический игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное. Семидесятилетняя женщина без ног и желающая играть – конечно, был случай не обыденный. Я протеснился тоже к столу и устроился подле бабушки. Потапыч и Марфа остались где-то далеко в стороне, между народом. Генерал, Полина, Де-Грие и m-lle Blanche тоже поместились в стороне, между зрителями.

Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие, отрывистые вопросы полушепотом: кто это такой? это кто такая? Ей особенно понравился в конце стола один очень молодой человек, игравший в очень большую игру, ставивший тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже тысяч до сорока франков, лежавших перед ним в куче, золотом и в банковых билетах. Он был бледен; у него сверкали глаза и тряслись руки; он ставил уже без всякого расчета, сколько рука захватит, а между тем все выигрывал да выигрывал, все загребал да загребал. Лакеи суetyались кругом него, подставляли ему сзади кресла, очищали вокруг него место, чтоб ему было просторнее, чтоб его не теснили, – все это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им иногда не считая, а так, с радости, тоже сколько рука из кармана захватит. Подле молодого человека уже устроился один полячок, суetyившийся из всех сил, и почтительно, но непрерывно что-то шептал ему, вероятно, указывая, как ставить, советуя и направляя игру, – разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки. Но игрок почти и не смотрел на него, ставил зря и все загребал. Он, видимо, терялся.

Бабушка наблюдала его несколько минут.

– Скажи ему, – вдруг засуetyилась бабушка, толкая меня, – скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал поскорее деньги и уходил. Проиграет, сейчас все проиграет! – захлопотала она, чуть не

задыхаясь от волнения. – Где Потапыч? Послать к нему Потапыча! Да скажи же, скажи же, – толкала она меня, – да где же, в самом деле, Потапыч! *Sortez, sortez!*³⁵ – начала было она сама кричать молодому человеку. – Я нагнулся к ней и решительно прошептал, что здесь так кричать нельзя и даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено, потому что это мешает счету, и что нас сейчас прогонят.

– Экая досада! Пропал человек, значит сам хочет... смотреть на него не могу, всю ворокает. Экой олух! – и бабушка поскорей оборотилась в другую сторону.

Там, налево, на другой половине стола, между игроками, заметна была одна молодая дама и подле нее какой-то карлик. Кто был этот карлик – не знаю: родственник ли ее, или так она брала его для эффекта. Эту барыню я замечал и прежде; она являлась к игорному столу каждый день, в час пополудни, и уходила ровно в два; каждый день играла по одному часу. Ее уже знали и тотчас же подставляли ей кресла. Она вынимала из кармана несколько золота, несколько тысячефранковых билетов и начинала ставить тихо, хладнокровно, с расчетом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными кушами. Выигрывала каждый день одну, две, много три тысячи франков – не более и, выиграв, тотчас же уходила. Бабушка долго ее рассматривала.

– Ну, эта не проиграет! эта вот не проиграет! Из каких? Не знаешь? Кто такая?

– Француженка, должно быть, из эдаких, – шепнул я.

– А, видна птица по полету. Видно, что ноготок востер. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить?

Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок, *rouge et noir, pair et impair, manque et passe*³⁶ и, наконец, разные оттенки в системе чисел. Бабушка слушала внимательно, запоминала, переспрашивала и заучивала. На каждую систему ставок можно было тотчас же привести и пример, так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна.

– А что такое *zéro*?³⁷ Вот этот крупёр, курчавый, главный-то, крикнул сейчас *zéro*? И почему он все загреб, что ни было на столе? Эдакую кучу, все себе взял? Это что такое?

– А *zéro*, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на *zéro*, то все, что ни поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Правда, дается еще удар на розыгрыш, но зато банк ничего не платит.

– Вот те на! а я ничего не получаю?

– Нет, бабушка, если вы пред этим ставили на *zéro*, то когда выйдет *zéro*, вам платят в тридцать пять раз больше.

– Как, в тридцать пять раз, и часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?

– Тридцать шесть шансов против, бабушка.

– Вот вздор! Потапыч! Потапыч! Постой, и со мной есть деньги – вот! – Она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него фридрихсдор. – На, поставь сейчас на *zéro*.

– Бабушка, *zéro* только что вышел, – сказал я, – стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите; подождите хоть немного.

– Ну, врешь, ставь!

– Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет, вы до тысячи проставите, это случилось.

– Ну, вздор, вздор! Волка бояться – в лес не ходить. Что? проиграл? Ставь еще!

³⁵ Уходите, уходите! (*франц.*)

³⁶ Красное и черное, чет и нечет, недобор и перебор (*франц.*).

³⁷ Ноль (*франц.*).

Проиграли и второй фридрихсдор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупёр провозгласил «trente six»³⁸ вместо ожидаемого zéro.

– Эж ведь его! – сердилась бабушка, – да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до него! Это этот проклятый курчавый крупёришка делает, у него никогда не выходит! Алексей Иванович, ставь два золотых за раз! Это столько проставишь, что и выйдет zéro, так ничего не возьмешь.

– Бабушка!

– Ставь, ставь! Не твои.

Я поставил два фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг – хлоп!

– Zéro, – провозгласил крупёр.

– Видишь, видишь! – быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. – Я ведь сказала, сказала тебе! И надоумил меня сам Господь поставить два золотых. Ну, сколько же я теперь получу? Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч!

– Бабушка, после, – шептал я, – Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте!

Бабушке выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с пятидесятью фридрихсдорами и отсчитали не запечатанных еще двадцать фридрихсдоров. Все это я пригреб к бабушке лопаткой.

– Faites le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus?³⁹ – возглашал крупёр, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку.

– Господи! опоздали! сейчас завертят! Ставь, ставь! – захлопотала бабушка, – да не мешкай, скорее, – выходила она из себя, толкая меня изо всех сил.

– Да куда ставить-то, бабушка?

– На zéro, на zéro! опять на zéro! Ставь как можно больше! Сколько у нас всего? Семьдесят фридрихсдоров? Нечего их жалеть, ставь по двадцати фридрихсдоров разом.

– Опомнитесь, бабушка! Он иногда по двести раз не выходит! Уверяю вас, вы весь капитал проставите.

– Ну, врешь, врешь! ставь! Вот язык-то звенит! Знаю, что делаю, – даже затряслась в исступлении бабушка.

– По уставу разом более двенадцати фридрихсдоров на zéro ставить не позволено, бабушка, – ну, вот я поставил.

– Как не позволено? Да ты не врешь ли? Мусье! мусье! – затолкала она крупёра, сидевшего тут же подле нее слева и приготовившегося вертеть, – combien zéro? douze? douze?⁴⁰

Я поскорее растолковал вопрос по-французски.

– Oui, madame⁴¹, – вежливо подтвердил крупёр, – равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом четырех тысяч флоринов, по уставу, – прибавил он в пояснение.

– Ну, нечего делать, ставь двенадцать.

– Le jeu est fait!⁴² – крикнул крупёр. Колесо завертелось, и вышло тринадцать. Проиграли!

³⁸ Тридцать шесть (*франц.*).

³⁹ Делайте вашу ставку, господа! Делайте вашу ставку! Больше никто не ставит? (*франц.*)

⁴⁰ Сколько ноль? двенадцать? двенадцать? (*франц.*)

⁴¹ Да, сударыня (*франц.*).

⁴² Ставка сделана (*франц.*).

– Еще! еще! ставь еще! – кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще двенадцать фридрихсдоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужто она и в самом деле думает опять зéго выиграть?» – подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее, неременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут: зéго! Шарик вскочил в клетку.

– Zéго! – крикнул крупер.

– Что!!! – с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка.

Я сам был игрок; я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило. Конечно, это был редкий случай, что на каких-нибудь десяти ударах три раза выскочил зéго; но особенно удивительного тут не было ничего. Я сам был свидетелем, как третьего дня вышло три зéго *сряду* и при этом один из игроков, ревностно отмечавший на бумажке удары, громко заметил, что не далее, как вчера, этот же самый зéго упал в целые сутки один раз.

С бабушкой, как с выигравшей самый значительный выигрыш, особенно внимательно и почтительно рассчитались. Ей приходилось получить ровно четыреста двадцать фридрихсдоров, то есть четыре тысячи флоринов и двадцать фридрихсдоров. Двадцать фридрихсдоров ей выдали золотом, а четыре тысячи – банковыми билетами.

На этот раз бабушка уже не звала Потапыча; она была занята не тем. Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась:

– Алексей Иванович! он сказал, зараз можно только четыре тысячи флоринов поставить? На, бери, ставь эти все четыре на красную, – решила бабушка.

Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось.

– Rouge! – провозгласил крупёр.

Опять выигрыш в четыре тысячи флоринов, всего, стало быть, восемь.

– Четыре сюда мне давай, а четыре ставь опять на красную, – командовала бабушка.

Я поставил опять четыре тысячи.

– Rouge! – провозгласил снова крупёр.

– Итого двенадцать! Давай их все сюда. Золото ссыпай сюда, в кошелек, а билеты спрячь.

– Довольно! Домой! Откатите кресла!

Глава XI

Кресла откатали к дверям, на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Как ни эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф покрывал многое, и генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной. С снисходительной и фамильярно-веселой улыбкою, как бы теща ребенка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был видимо поражен, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо нее, чтобы ближе ее рассмотреть. Мистер Астлей толковал о ней в стороне с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Де-Грие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках.

– Quelle victoire!⁴³ – говорил он.

– Mais, madame, c'était du feu!⁴⁴ – прибавила с заигрывающей улыбкой mademoiselle Blanche.

– Да-с, вот взяла да и выиграла двенадцать тысяч флоринов! Какое двенадцать, а золотото? С золотом почти что тринадцать выйдет. Это сколько по-нашему? Тысяч шесть, что ли, будет?

Я доложил, что и за семь перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до восьми дойдет.

– Шутка, восемь тысяч! А вы-то сидите здесь, колпаки, ничего не делаете! Потапыч, Марфа, видели?

– Матушка, да как это вы? Восемь тысяч рублей! – восклицала, извиваясь, Марфа.

– Нате, вот вам от меня по пяти золотых, вот!

Потапыч и Марфа бросились целовать ручки.

– И носильщикам дать по фридрихсдору. Дай им по золотому, Алексей Иванович. Что это лакей кланяется, и другой тоже? Поздравляют? Дай им тоже по фридрихсдору.

– Madame la princesse... un pauvre expatrié... malheur continuel... les princes russes sont si généreux', – увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете и с подобострастной улыбкой...

– Дай ему тоже фридрихсдор. Нет, дай два; ну, довольно, а то конца с ними не будет. Подымите, везите! Прасковья, – обратилась она к Полине Александровне, – я тебе завтра на платье куплю, и той куплю mademoiselle... как ее, mademoiselle Blanche, что ли, ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Прасковья!

– Merci, madame, – умильно присела mademoiselle Blanche, искривив рот в насмешливую улыбку, которою обменялась с Де-Грие и генералом. Генерал отчасти конфузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи.

– Федосья, Федосья-то, думаю, как удивится теперь, – говорила бабушка, вспоминая о знакомой генеральской нянюшке. – И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович, Алексей Иванович, подай этому нищему!

По дороге проходил какой-то оборванец, с скрюченною спиной, и глядел на нас.

– Да это, может быть, и не нищий, а какой-нибудь прощельга, бабушка.

– Дай! дай! дай ему гульден!

Я подошел и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял гульден. От него пахло вином.

– А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастья?

⁴³ Какая победа (*франц.*).

⁴⁴ Но, сударыня, это было блестяще! (*франц.*)

– Нет, бабушка.
– А у самого глаза горели, я видела.
– Я еще попробую, бабушка, непременно, потом.
– И прямо ставь на зéро! Вот увидишь! Сколько у тебя капитала?
– Всего только двадцать фридрихсдоров, бабушка.
– Немного. Пятьдесят фридрихсдоров я тебе дам взаймы, если хочешь. Вот этот самый сверток и бери, а ты, батюшка, все-таки не жди, тебе не дам! – вдруг обратилась она к генералу. Того точно перевернуло, но он промолчал. Де-Грие нахмурился.
– Que diable, c'est une terrible vieille!⁴⁵ – прошептал он сквозь зубы генералу.
– Нищий, нищий, опять нищий! – закричала бабушка. – Алексей Иванович, дай и этому гульден.

На этот раз повстречался седой старик, с деревянной ногой, в каком-то синем длинном полумесяце и с длинной тростью в руках. Он похож был на старого солдата. Но когда я протянул ему гульден, он сделал шаг назад и грозно осмотрел меня.

– Was ist's, der Teufel!⁴⁶ – крикнул он, прибавив к этому еще с десяток ругательств.
– Ну, дурак! – крикнула бабушка, махнув рукой. – Везите дальше! Проголодалась! Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь, и опять туда.
– Вы опять хотите играть, бабушка? – крикнул я.
– Как бы ты думал? Что вы-то здесь сидите да киснете, так и мне на вас смотреть?
– Mais, madame, – приблизился Де-Грие, – les chances vont tourner, une seule mauvaise chance et vous perdrez tout... surtout avec votre jeu... c'était terrible!⁴⁷
– Vous perdrez absolument⁴⁸, – зашебетала m-lle Blanche.
– Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю – свои! А где этот мистер Астлей? – спросила она меня.

– В воксале остался, бабушка.
– Жаль; вот этот так хороший человек.

Прибыв домой, бабушка еще на лестнице, встретив обер-кельнера, подозвала его и похватила своим выигрышем; затем позвала Федосью, подарила ей три фридрихсдора и велела подавать обедать. Федосья и Марфа так и рассыпались перед нею за обедом.

– Смотрю я на вас, матушка, – трещала Марфа, – и говорю Потапычу, что это наша матушка хочет делать. А на столе денег-то, денег-то, батюшки! всю-то жизнь столько денег не видывала, а все кругом господа, все одни господа сидят. И откуда, говорю, Потапыч, это все такие здесь господа? Думаю, помоги ей сама Мати Божия. Молюсь я за вас, матушка, а сердце вот так и замирает, так и замирает, дрожу, вся дрожу. Дай ей, Господи, думаю, а тут вот вам Господь и послал. До сих пор, матушка, так и дрожу, так вот вся и дрожу.

– Алексей Иванович, после обеда, часа в четыре, готовься; пойдем. А теперь покамест прощай, да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь, тоже и воды пить надо. А то и позабудешь, пожалуй.

Я вышел от бабушки как одурманенный. Я старался себе представить, что теперь будет со всеми нашими и какой оборот примут дела? Я видел ясно, что они (генерал преимущественно) еще не успели прийти в себя, даже и от первого впечатления. Факт появления бабушки вместо ожидаемой с часу на час телеграммы об ее смерти (а стало быть, и о наследстве) до того раздробил всю систему их намерений и принятых решений, что они с решительным недоумением и с каким-то нашедшим на всех столбняком относились к дальнейшим подвигам бабушки

⁴⁵ Черт побери, ужасная старуха! (франц.)

⁴⁶ Черт побери, что это такое! (нем.)

⁴⁷ Но, сударыня, удача может изменить, один неудачный ход – и вы потеряете все... особенно с вашими ставками... это ужасно! (франц.)

⁴⁸ Вы потеряете непременно (франц.).

на рулетке. А между тем этот второй факт был чуть ли не важнее первого, потому что хоть бабушка и повторила два раза, что денег генералу не даст, но ведь кто знает, – все-таки не должно было еще терять надежды. Не терял же ее Де-Грие, замешанный во все дела генерала. Я уверен, что и m-lle Blanche, тоже весьма замешанная (еще бы: генеральша и значительное наследство!), не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения кокетства над бабушкой – в контраст с неподатливою и неумеющею приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь, теперь, когда бабушка совершила такие подвиги на рулетке, теперь, когда личность бабушки отпечаталась пред ними так ясно и типически (строптивая, властолюбивая старуха *et tombée en enfance*), теперь, пожалуй, и все погибло: ведь она, как ребенок, рада, что дорвалась, и, как водится, проиграется в пух. Боже! – подумал я (и прости меня, Господи, с самым злорадным смехом), – Боже, да ведь каждый фридрихсдор, поставленный бабушкой давеча, ложился болячкою на сердце генерала, бесил Де-Грие и доводил до исступления m-lle de Cominges, у которой мимо рта проносили ложку. Вот и еще факт: даже с выигрыша, с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось к генералу: «А тебе-то все-таки не дам!» Это значит: села на этой мысли, уперлась, слово такое себе дала; – опасно! опасно!

Все эти соображения ходили в моей голове в то время, как я поднимался от бабушки по парадной лестнице, в самый верхний этаж, в свою каморку. Все это занимало меня сильно; хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстейшие нити, связывавшие пред мною актеров, но все-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры. Полина никогда не была со мною вполне доверчива. Хоть и случалось, правда, что она открывала мне подчас, как бы невольно, свое сердце, но я заметил, что часто, да почти и всегда, после этих открытий или в смех обратит все сказанное, или запутает и с намерением придаст всему ложный вид. О! она многое скрывала! Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряженного состояния. Еще один удар – и все будет кончено и обнаружено. О своей участи, тоже во всем этом заинтересованный, я почти не заботился. Странное у меня настроение: в кармане всего двадцать фридрихсдоров; я далеко, на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчетов и – не забочусь об этом! Если бы не дума о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во все горло. Но Полина смущает меня; участь ее решается, это я предчувствовал, но, каюсь, совсем не участь ее меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в ее тайны; мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала: «Ведь я люблю тебя», а если нет, если это безумство немислимо, то тогда... ну, да чего пожелать? Разве я знаю, чего желаю? Я сам как потерянный; мне только бы быть при ней, в ее ореоле, в ее сиянии, навечно, всегда, всю жизнь. Дальше я ничего не знаю! И разве я могу уйти от нее?

В третьем этаже, в их коридоре, меня что-то как толкнуло. Я обернулся и, в двадцати шагах или более, увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня и тотчас же к себе поманила.

– Полина Александровна...

– Тише! – предупредила она.

– Представьте себе, – зашептал я, – меня сейчас точно что толкнуло в бок; оглядываюсь – вы! Точно электричество исходит из вас какое-то!

– Возьмите это письмо, – заботливо и нахмуренно произнесла Полина, наверное не расслышав того, что я сказал, – и передайте лично мистери Астлею, сейчас. Поскорее, прошу вас. Ответа не надо. Он сам...

Она не договорила.

– Мистери Астлею? – переспросил я в удивлении.

Но Полина уже скрылась в дверь.

– Ага, так у них переписка! – я, разумеется, побежал тотчас же отыскивать мистера Астлея, сперва в его отеле, где его не застал, потом в воксале, где обегал все залы, и, наконец, в досаде, чуть не в отчаянии, возвращаясь домой, встретил его случайно, в кавалькаде каких-то англичан и англичанок, верхом. Я поманил его, остановил и передал ему письмо. Мы не успели и переглянуться. Но я подозреваю, что мистер Астлей нарочно поскорее пустил лошадь.

Мучила ли меня ревность? Но я был в самом разбитом состоянии духа. Я и удостовериться не хотел, о чем они переписываются. Итак, он ее поверенный! «Друг-то друг, – думал я, – и это ясно (и когда он успел сделаться), но есть ли тут любовь?» «Конечно, нет», – шептал мне рассудок. Но ведь одного рассудка в эдаких случаях мало. Во всяком случае предстояло и это разъяснить. Дело неприятно усложнялось.

Не успел я войти в отель, как швейцар и вышедший из своей комнаты обер-кельнер сообщили мне, что меня требуют, ищут, три раза посылали наведываться: где я? – просят как можно скорее в номер к генералу. Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашел, кроме самого генерала, Де-Грие и m-lle Blanche, одну, без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада; но когда доходило до настоящего дела, то m-lle Blanche орудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названной дочки.

Они втроем о чем-то горячо совещались, и даже дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало. Подходя к дверям, я расслышал громкие голоса – дерзкий и язвительный разговор Де-Грие, нахально-ругательный и бешеный крик Blanche и жалкий голос генерала, очевидно, в чем-то оправдывавшегося. При появлении моем все они как бы попридержались и подправились. Де-Грие поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающееся, – тою скверною, официально-учтивою, французскою улыбкою, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то машинально. Одна только m-lle Blanche почти не изменила своей сверкающей гневом физиономии и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечу, что она до невероятности небрежно доселе со мною обходилась, даже не отвечала на мои поклоны, – просто не примечала меня.

– Алексей Иванович, – начал нежно распекающим тоном генерал, – позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно... одним словом, ваши поступки относительно меня и моего семейства... одним словом, в высочайшей степени странно...

– Eh! ce n'est pas ça, – с досадой и презрением перебил Де-Грие. (Решительно, он всем заправлял!) – Mon cher monsieur, notre cher général se trompe⁴⁹, – впадая в такой тон (продолжаю его речь по-русски), – но он хотел вам сказать... то есть вас предупредить или, лучше сказать, просить вас убедительнейше, чтобы вы не губили его, – ну да, не губили! Я употребляю именно это выражение...

– Но чем же, чем же? – прервал я.

– Помилуйте, вы беретесь быть руководителем (или как это сказать?) этой старухи, cette pauvre terrible vieille⁵⁰, – сбивался сам Де-Грие, – но ведь она проиграется; она проиграется вся в пух! Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет! Если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола, из упрямства, из злости, и все будет играть, все будет играть, а в таких случаях никогда не отыгрываются, и тогда... тогда...

– И тогда, – подхватил генерал, – тогда вы погубите все семейство! Я и мое семейство, мы – ее наследники, у ней нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу: дела мои расстроены, крайне расстроены. Вы сами отчасти знаете... Если она проиграет значительную сумму или даже, пожалуй, все состояние (о боже!), что тогда будет с ними, с моими детьми! (генерал

⁴⁹ Это не то... Дорогой мой, наш милый генерал ошибается (*франц.*).

⁵⁰ Этой бедной, ужасной старухи (*франц.*).

оглянулся на Де-Грие), со мною! (Он поглядел на m-lle Blanche, с презрением от него отвернувшись.) Алексей Иванович, спасите, спасите нас!..

– Да чем же, генерал, скажите, чем я могу... Что я-то тут значу?

– Откажитесь, откажитесь, бросьте ее!..

– Так другой найдется! – вскричал я.

– *Se n'est pas ça, se n'est pas ça*, – перебил опять Де-Грие, – *que diable!*⁵¹ Нет, не покидайте, но по крайней мере усовестите, уговорите, отвлеките... Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много, отвлеките ее как-нибудь.

– Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, *monsieur* Де-Грие, – прибавил я как можно наивнее.

Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд *mademoiselle* Blanche на Де-Грие. В лице самого Де-Грие мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться.

– То-то и есть, что она меня не возьмет теперь! – вскричал, махнув рукой, Де-Грие. – Если б!.. потом...

Де-Грие быстро и значительно поглядел на m-lle Blanche.

– *O mon cher monsieur Alexis, soyez si bon!*⁵², – шагнула ко мне с обворожительной улыбкою сама m-lle Blanche, схватила меня за обе руки и крепко сжала. Черт возьми! это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В это мгновение у ней явилось такое просящее лицо, такое милое, детски улыбающееся и даже шаловливое; под конец фразы она плутовски мне подмигнула, тихонько от всех; срезать разом, что ли, меня хотела? И недурно вышло, – только уж грубо было это, однако, ужасно.

Подскочил за ней и генерал, – именно подскочил:

– Алексей Иванович, простите, что я давеча так с вами начал, я не то совсем хотел сказать... Я вас прошу, умоляю, в пояс вам кланяюсь по-русски, – вы один, один можете нас спасти! Я и *mademoiselle de Cominges* вас умоляем, – вы понимаете, ведь вы понимаете? – умолял он, показывая мне глазами на m-lle Blanche. Он был очень жалок.

В эту минуту раздались три тихие и почтительные удара в дверь; открыли – стучал коридорный слуга, а за ним, в нескольких шагах, стоял Потапыч. Послы были от бабушки. Требовалось сыскать и доставить меня немедленно; «сердятся», – сообщил Потапыч.

– Но ведь еще только половина четвертого!

– Они и заснуть не могли, все ворочались, потом вдруг встали, кресла потребовали, и за вами. Уж они теперь на крыльце-с...

– *Quelle mégère!*⁵³ – крикнул Де-Грие.

Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До четырех часов она не выдержала.

– Ну, подымайте! – крикнула она, и мы отправились опять на рулетку.

⁵¹ Это не то, это не то... что за черт! (*франц.*)

⁵² О дорогой господин Алексей, будьте так добры (*франц.*).

⁵³ Какая мегера! (*франц.*)

Глава XII

Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа; видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеянна. Ни про что, например, по дороге ни расспрашивала, как давеча. Увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она было подняла руку и спросила: «Что такое? Чьи?» – но, кажется, и не расслышала моего ответа; задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими и нетерпеливыми телодвижениями и выходками. Когда я ей показал издали, уже подходя к вокзалу, барона и баронессу Вурмергельм, она рассеянno посмотрела и совершенно равнодушно сказала «А!» – и, быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагавшим сзади, отрезала им:

– Ну, вы зачем увязались? Не каждый раз брать вас! Ступайте домой! Мне и тебя довольно, – прибавила она мне, когда те торопливо поклонились и воротились домой.

В воксале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место, возле крупёра. Мне кажется, эти крупёры, всегда такие чинные и представляющие из себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно все равно, выиграет ли банк или проиграет, – вовсе не равнодушны к проигрышу банка и, уж конечно, снабжены кой-какими инструкциями для привлечения игроков и для вящего наблюдения казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии. По крайней мере на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали, то и случилось.

Вот как было дело.

Бабушка прямо накинута на зéро и тотчас же велела ставить по двенадцати фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий – зéро не выходил. «Ставь, ставь!» – толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался.

– Сколько раз поставили? – спросила она, наконец, скрежеща зубами от нетерпения.

– Да уж двенадцатый раз ставил, бабушка. Сто сорок четыре фридрихсдора поставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.